



**Н. Н.
АЛЕКСЕЕВ**



Николай Николаевич Алексеев Лжецаревич

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2778565

Аннотация

«Под вечер декабрьского дня 1602 года по проезжей дороге в глубине векового литовского леса ехали два всадника.

Один из них был человек сильного телосложения, широкоплечий, одетый в темный подбитый мехом кафтан и в низкую соболью шапку, прикрывавшую его лоб и уши. Из-за кушака выглядывала пара резных рукояток длинноствольных пистолетов, сбоку была прицеплена сабля в бархатных ножнах с серебряными перехватами. Длинная, широкая золотистая борода лопатой падала на грудь. Внимательный наблюдатель мог бы подметить в этой бороде местами блески седины. Седина эта, однако, не была «серебром лет», потому что лицо всадника – красивое лицо чисто русского типа – было молодо, хотя серьезно, почти печально...»

Содержание

Часть первая	4
I. Запоздалые путники	4
II. В лесной усадьбе	12
III. Побойще	19
IV. На волосок от смерти	23
V. После битвы	25
VI. Станный слуга	32
VII. Иезуит	40
VIII. «Пташка»	45
IX. Перелом	52
X. Больной	57
XI. Пан и патер	62
XII. Во тьме ночной	66
XIII. Христианское наставление	74
XIV. Четыре буквы	79
XV. Удача пана Самуила	85
XVI. За обедом	91
XVII. Зверь победил	98
Конец ознакомительного фрагмента.	100

Николай Николаевич Алексеев Лжецаревич

Часть первая

I. Запоздалые путники

Под вечер декабрьского дня 1602 года по проезжей дороге в глубине векового литовского леса ехали два всадника.

Один из них был человек сильного телосложения, широкоплечий, одетый в темный подбитый мехом кафтан и в низкую соболью шапку, прикрывавшую его лоб и уши. Из-за кушака выглядывала пара резных рукояток длинноствольных пистолетов, сбоку была прицеплена сабля в бархатных ножнах с серебряными перехватами. Длинная, широкая золотистая борода лопатой падала на грудь. Внимательный наблюдатель мог бы подметить в этой бороде местами блесстки седины. Седина эта, однако, не была «серебром лет», потому что лицо всадника – красивое лицо чисто русского типа – было молодо, хотя серьезно, почти печально.

Второй всадник, ехавший рядом с ним, был почти на це-

люю голову ниже его. Овчинный полушубок казался несколько узким для его широких плеч, высокая баранья шапка, напоминавшая казацкую, была сдвинута немного на затылок и открывала часть рыжеватых волос над умным выпуклым лбом, на котором бросалась в глаза крупная «родимая» бородавка; такая же бородавка виднелась под правым глазом. Эти бородавки очень портили круглое белое лицо всадника; не мог сообщить ему привлекательности и широкий, несколько приплюснутый нос. Желая подбодрить коня, всадник дернул поводья обеими руками; при этом можно было заметить, что одна из его рук короче другой.

По-видимому, природа отнеслась к нему не как мать, а как мачеха и одарила его довольно неказистою внешностью.

А между тем, в этом некрасивом, почти безобразном человеке было что-то, что должно было выделять его из ряда других. Это «что-то» сказывалось во всем: и в его ухарской посадке на коне – сухом, жилистом «степняке» – и в несколько горделиво закинутой голове, и в быстрой смене выражений лица, и в глазах – некрасивых светло-голубых глазах – тусклых, словно выцветших, но умных, живых и глубоких, в которых трудно было прочесть, что таят они, как трудно узнать, что скрывает глубь Северного моря, цвет которого они напоминали.

Насколько хуже был одет второй путник, чем первый, настолько же хуже был и вооружен: у него не было с собой «пистолей», как тогда называли пистолеты, вместо них из голе-

нища сапога выглядывал черенок ножа. Сабля была и у него, но лежала она в простых деревянных вычерненных ножнах, лишенных всяких украшений.

Внешним видом спутники настолько рознились друг от друга, что первого из них можно было принять за господина, второго – за его слугу.

На деле, однако, было не так. Они оба были вольными людьми и зависели один от другого столько же, сколько папа римский от турецкого султана. Их соединили общность происхождения – они оба были русские – и дорога: путь их лежал в одну сторону. Познакомились они между собой всего несколько дней назад на ночлеге в корчме и знали друг про друга очень немного.

Всадник в казацкой шапке знал лишь, что его спутника зовут Павлом Степановичем, что прозвище его – Белый-Туренин, что он – боярин, родом из Москвы.

Бородатый же всадник знал про своего путевого товарища еще меньше – только лишь, что его зовут Григорием. Одно они оба хорошо знали – то, что, как одному, так и другому, нужно было удалиться в глубь Литвы, подальше от русского рубежа. По каким причинам нужно это было каждому из них – они не старались допытываться.

Путники долгое время ехали молча.

Слабый отблеск вечерней зари догорел на верхушках деревьев; полумрак окутывал всадников. Боярин вглядывался вдаль сквозь сумерки.

Справа и слева, как две стены, чернел хвойный лес; покрытая снегом дорога белою змейкой вилась между этими молчаливыми стенами и скрывалась во тьме. Нигде не виделось ничего, что могло бы указать на близость жилья. Тишина была такая, что жутко становилось.

Боярин опустил голову и, задумавшись, ослабил поводья. Его притомившийся конь пошел тише. Григорий тоже не подгонял своего взмыленного «степняка».

– Что, Григорий, ведь, пожалуй, нам заночевать в лесу придется, – прервал, наконец, молчание Павел Степанович.

Спрашиваемый ответил не сразу.

– Не знаю, что и ответить. Сказывали мне, что лесом дорога верст десятка два тянется, а, кажись, мы проехали немало, а ей все конца и края нет. Да и кони попритомились. Подогнать их разве. Авось, доберемся до ночлега.

– Гм... доберемся ль? Уж ночь совсем. Смотри! – и Белый-Туренин при этих словах указал своему спутнику на первую звезду, зажегшуюся над их головами.

– Да. Заночевать, что ль, в лесу? Насберем хворостку, костерчик разложим. Коням сено запасено. Э! Что это с ними? – последние слова относились к коням, которые почему-то внезапно сменили свой тихий трусок на быстрый карьер.

– Почуяли что-нибудь, – заметил боярин.

Было ясно, что кони чего-то испугались. Они фыркали, пряли ушами и все подбавляли бега.

– Чего бы им испугаться? – пожав плечами, в раздумье добавил Белый-Туренин.

Его спутник не отвечал, он прислушивался. Вдруг он живо обернулся к Павлу Степановичу.

– Слышишь, боярин?

– Что?

– А вот, послушай...

Боярин прислушался. В лесу, казалось, стояла прежняя мертвящая тишина.

– Все тихо.

– Обожди, обожди малость.

Откуда-то издали до слуха Белого-Туренина донесся унылый протяжный вой.

– Волки! – воскликнул он и добавил с легким волнением:

– Не пришлось бы попасть к ним на зубы.

Товарищ боярина весело рассмеялся.

– Теперь расслышал? Они и есть! Кони раньше нас почували. Зверье подгонит наших лошадушек, ха-ха-ха! Ну-ну, степнячок мой миленький, надбавь, надбавь! – говорил Григорий, которого, по-видимому, приближение волков не только не испугало, но даже обрадовало; по крайней мере, в его голосе слышалась только бесшабашная удаль.

Белый-Туренин был тоже не из робких, но он любил смотреть прямо в глаза опасности, не играть с нею и подшучивать над ней, а, если этого требовала необходимость, идти напролом с сознанием, что нужно или победить, или погибнуть.

Это была храбрость, но храбрость благоразумная, холодная, та храбрость, которая более нужна полководцу, чем просто-му воину, храбрость не юноши, а испытанного мужа.

Еще очень недавно, всего за несколько месяцев перед тем, как очутиться на пустынной дороге в глубине литовского леса, Павел Степанович был бесшабашным удалцом, готовым на всякую молодецкую, безумно-смелую потеху. Но с тех пор за немногие дни изменилось очень многое; блески седины появились в золотистых волосах молодого боярина, а его сердце, потрясенное, облившееся кровью от пережитого горя, перестало отзываться на порывы молодости, забилося ровно и медленно, как у старца.

Он ничего не ответил на слова своего удалого путника и слегка шевельнул уздой, погоняя коня.

Но кони не нуждались в понуканиях: они и без того неслись, как бешеные, разбрасывая из-под копыт комья мягкого снега.

Более часа прошло в бешеной скачке. Темное небо засебрилось; взошла луна и кинула светлые и темные тени на дорогу.

– Скоро конец леса – вишь, молодняк пошел, – промолвил Григорий.

Действительно, путники, очевидно, подъезжали к опушке. Деревья становились мельче и реже, зато кустарники, густые даже и теперь, в зимнюю пору, лишенные листы, все больше и больше заполняли пространство между деревьями

и местами тянулись непрерывною стеной по обеим сторонам дороги.

Могучи были эти дикорастущие кусты; казалось, им тесно между деревьями, и они стремились на волю и занимали всякий свободный клочок земли; даже на проторенную веками дорогу они протягивали свои цепкие ветви, а иногда, как смельчак-пионер, из ряда их выбегал высокий густой куст и преграждал путь всадникам. Недвижный в безветрии, местами занесенный снегом, облитый сиянием луны, он казался издали сказочным чудовищем, облаченным в обрывки белого савана. И со всех сторон, как вопли его робких, жавшихся по краям дороги собратий, неслись жалобные протяжные звуки, все более многочисленные, все громче раздававшиеся. Очевидно, волки приближались и кольцом охватывали путников.

Вдруг новый звук, короткий и резкий, пронесся по лесу. Это был болезненный и гневный человеческий крик. Он раздался неподалеку от Павла Степановича и Григория, в том месте, где дорога делала крутой поворот.

– Человек крикнул, – заметил Григорий.

– Да.

– Э! Да там, кажись, свалка идет! Слышь, сабли звякают.

Белый-Туренин кивнул головой; шум борьбы, отрывистые, хриплые возгласы и лязг оружия он тоже слышал явственно.

– Значит, потешимся! Любо!.. Гайда! – крикнул Григо-

рий, и, плотнее надвинув шапку, он пригнулся к шее коня и замолотил нагайкой по его бокам.

«Степняк», делая отчаянные усилия наддать хода, почти стлался по земле.

Белый-Туренин не отставал от Григория, извлекая на ходу саблю из ножен.

Через несколько секунд они достигли поворота дороги.

II. В лесной усадьбе

В нескольких верстах в сторону от проезжей дороги стояла усадьба пана Феликса Гонорового. Лес угрюмый, дремучий, со всех сторон надвигался на нее, и случайно забредшему в эту часть леса путнику нужно было бы быть очень внимательным, чтобы различить между деревьями крышу панского дома.

Но такой путник мог быть, действительно, только случайным: по доброй воле в эту часть леса редко кто заглядывал.

Окрестные крестьяне нарочно делали изрядный крюк в сторону, только бы пройти по возможности подальше от этой усадьбы: недобрая слава шла о ней. Причиной же этой недоброй славы был сам хозяин, пан Гоноровый – «проклятый», как звали его крестьяне, «вампир», как называли его окрестные паны из тех, которые были поученее.

В то время, когда боярин Белый-Туренин и Григорий ехали по лесу, прислушиваясь к отдаленному еще вою волков, почти за час перед тем, как им пришлось достигнуть поворота дороги и услышать лязг сабель и крики сражающихся, в одной из комнат «лесной усадьбы» находился сам хозяин ее.

В комнате было темно. Пан Феликс, тяжелыми шагами ходивший по ней, остановился и крикнул:

– Стефан! Огня!

Едва успел смолкнуть панский возглас, а уже узкая желтая

полоска света пробилась сквозь дверную щель, и Стефан со свечой в руке появился на пороге. Он поставил свечу на стол, сделал шаг назад к двери и остановился.

– Вельможный пане...

– Что тебе?

– Осмелюсь доложить – пан Гноровский...

– Ну, ну? – заторопил его пан Феликс, и вся фигура его выразила нетерпение.

– Пан Гноровский по лесу едет.

– Теперь? Ночью? Один?

– Двое слуг с ним.

– Далеко он от усадьбы?

– На полчаса езды.

– Давай одеваться, а потом вели Петрусю, Фомке, Юрию и другим там коней седлать и в путь снаряжаться – сейчас едем. Соберись и ты.

– Слушаю, пане добрый, – ответил слуга.

Свет свечи, хоть и не яркий, был достаточен для того, чтобы рассмотреть наружность пана Феликса и Стефана.

Слуга и господин были, казалось, одного возраста – каждому из них можно было дать не более тридцати лет.

Пан Гоноровый был очень высокого роста, почти великан. Расстегнутый ворот сорочки открывал могучую волосатую грудь; широкие плечи и руки, на которых жилы протягивались, как веревки, и при каждом движении играли бугорки мускулов, короткая, толстая, бычья шея – все говори-

ло о страшной силе. Кулак, которым пан Феликс грозно потряс под действием наполнявших его голову мыслей, способен был, казалось, уложить насмерть одним ударом вола.

Пожалуй, пана Гонорового можно было назвать красивым – высокий лоб, орлиный нос, большие черные глаза, рот, обнаруживающий при улыбке белые, как молоко, зубы, целая шапка черных, как смоль, слегка выющихся волос на голове и такого же цвета длинные молодецкие усы, падавшие к острому гладко выбритому подбородку – все это сделало бы из пана Феликса красавца, если бы не выражение его глаз. Тусклый, неподвижный взгляд пана Гонорового был страшен. Ни проблеска чувства, ни искры веселости нельзя было увидеть в темных глазах Феликса, – это была пустыня, страшная, мертвая, беспощадная. Смеялся ли он, горевал или гневался – его брови, густые, нависшие над глазами, сдвигались или расходились, а глаза оставались по-прежнему тусклыми, неподвижными. Такие глаза, вероятно, были у Калигулы, Нерона и других безумно-кровавых правителей Рима.

Говорят, глаза – зеркало души. Если это справедливо, то в теле пана Гонорового должна была находиться ужасная душа. О нем многие говорили с ужасом, другие – с омерзением. Крестьяне дрожали от страха при одном его имени, соседи-помещики его побаивались и ненавидели.

О лесной усадьбе пана Гонорового говорили, как о вертепе преступлений и разврата. Когда исчезала без вести молодая красавица-крестьянка, ее родители плакали и шепотом

передавали друг другу.

– Ее затащил в свою берлогу «проклятый» пан!

Не проходило года, чтобы не пропало несколько девушек.

Кличка «вампир» была дана панами Феликсу Гонорово-му неспроста: говорили, что он любит пить теплую человеческую кровь. Запершийся вдали от всех в своей усадьбе, в глубине леса, пан Феликс не ездил в гости ни к кому из окрестных панов и, подобно средневековому рыцарю, покидал свой дом, укрепленный не хуже иного замка, только для разбоя (поговаривали, что он занимается этим доходным ремеслом), для охоты или для потехи, вроде такой, например, как предавать пламени стога крестьянского сена, вытапты-вать спеющую рожь, похищать девушек или, если еще больше хотелось ему поразвлечь себя, запалить с двух концов сразу какую-нибудь жалкую деревушку.

Лишь в последнее время пан Феликс изменил своему нелюдимству – он стал часто бывать в доме одного из местных помещиков, пана Самуила Влашемското. Был ли там пан Феликс желанным гостем или нет, о том он мало заботился: ему хотелось туда ездить, и он ездил.

Поговаривали, что причиной этого были прекрасные глазки дочки пана Самуила Анджелики.

Однако многие находили такой слух лишенным основания, потому что всем было известно, что красавица панна Влашемская – уже невеста одного из здешних же помещиков. Полагали, что пану Гоноровому должно быть это ведо-

мо, и, несмотря на всю свою дикость, он вряд ли посмел бы ухаживать за чужою невестой. Для того, чтобы решить, которая из этих сторон права, достаточно прислушаться к тому, что бормочет пан, одеваясь с помощью своего слуги Стефана.

– А, пан женишок счастливый! Увидим, любо ль тебе будет со мною теперь повстречаться? Не таковский, брат, я, чтобы тебе уступить Анджелику! – бормотал Феликс.

Слуга его, Стефан, представлял полную противоположность своему господину. Насколько тот был высок и силен, настолько он был мал и тщедушен. Он был гораздо ниже среднего роста, но сложен хорошо, и вся его небольшая фигура казалась стройной и гибкой. В его движениях было что-то кошачье. Лицо, обрамленное небольшою белокурою бородой, казалось женственно-красивым, а голубые глаза были ясны и смотрели так приветливо и кротко, что всякого заставляли подумать: «Что за красавец-молодчик! И душа, должно быть, у него ангельская!»

И, между тем, этот женственно-красивый парень был правой рукой своего господина во всех его злодеяниях.

Тщедушный на вид, он обладал стальными мускулами и был ловок, как кошка. Саблей Стефан владел лучше самого пана Феликса, который больше брал силою, чем искусством; кроме того, Стефан, прозванный своими сотоварищами за хитрость Лисом, был храбр и не терялся ни при какой опасности.

Всегда – вел ли он дружеский разговор, бился ли в битве, поджигал ли по приказанию пана деревушку, увозил ли красотку-девушку для своего господина, убивал ли по панской воле опостылевшую любу – всегда он оставался спокойным, кротким с виду, улыбка не покидала его губ, румянец не загорался ярче, только в ясных глазах мелькали чуть заметные искорки.

Пока Стефан помогал пану одеваться, тот расспрашивал его:

– Как проведал ты, что пан Гноровский поедет мимо?

Слуга лукаво усмехнулся:

– Я знал, что вельможному пану приятно будет знать все, что делает пан Гноровский.

– Конечно!

– Так я и постарался присмотреть за ним.

Пан Феликс пожал плечами:

– Ты хочешь, как видно, меня обмануть.

– Посмею ль, вельможный пане?

– Да ведь это ясно! Говоришь, что старался присмотреть за Гноровским, а сам весь день был дома.

– У меня там, в усадьбе Гноровского, другие глаза и уши есть, ха-ха. Есть там молоденькая холопка, московка, Анной звать. Если бы я ей сказал, чтобы она в озеро в прорубь кинулась, так она и то не задумалась бы, не то, чтоб присмотреть за своим господином да мне передать. Прибегла она сегодня сюда и известила, что пан ее ехать к невесте собирает.

– А, вот что! Ну, молодец ты, Стефан! Хитер, смел... Люблю я тебя, как друга, – сказал пан Феликс, потом добавил, прицепляя к поясу саблю: – Теперь беги снаряжайся, да и хлопцев торопи.

– Слушаю, пане.

– Постой! Скажи им, чтоб пана Гноровского в свалке не зарубили: мне он живьем нужен...

– Слушаю, пане, – повторил Стефан и вышел из комнаты.

Скоро небольшой отряд всадников выехал из ворот «лесной усадьбы». Все они были вооружены кривыми польскими саблями. Кое у кого покачивались привязанные к седлу дубинки. У иных сверкали за поясом топоры. Все всадники были молодец к молодцу, как на подбор.

– Слышь, волки воют как, – тихо сказал один из них своему товарищу.

Пан Феликс услышал это и обернулся.

– Ничего! Мы сами – волки! – промолвил он, усмехаясь. – Гайда, хлопцы!

Нагайки поднялись и опустились на бока коней, и через несколько минут отряд скрылся за деревьями леса.

III. Побоище

Когда боярин Белый-Туренин и Григорий приблизились к тому месту, откуда доносился шум битвы, то они увидели, что хотя здесь дорога, по которой они ехали, действительно слегка поворачивала в сторону, но, вместе с тем, пересекалась с другою дорогою, гораздо более широкой. На этой-то новой дороге и кипел бой.

Свет полной луны позволял ясно различать все подробности.

Тройка запряженных в широкие сани горячившихся коней стояла неподалеку; их сдерживал под уздцы рослый парень.

В санях стоял и отчаянно отбивался молодой человек, с бледным красивым лицом, опушенным небольшою темною бородою. На него нападало несколько человек, из которых некоторые, по-видимому, были поранены саблею отбивавшегося. Все нападавшие были пешие. Их коней держал в стороне какой-то малорослый парень с женственно-красивым лицом. Не принимая участия в битве, он лишь делал указания нападавшим, выкрикивая певучим спокойным голосом польски:

– Фома! Фома! Не зевай! Накидывай петлю-то! Эх, не так! Ну-ка, ты, Юшко! Ты половчей, попробуй!

Немного далее виднелась неподвижная, словно окамене-

лая, фигура великана-всадника со скрещенными на груди руками.

В санях, у ног отбивавшегося молодого человека, лежало распростертое тело какого-то старика, судя по одежде, холопа. Старик, казалось, был мертв; кровавый рубец протягивался поперек его белого лба и скрывался в густых, смоченных кровью, седых волосах. Молодой безусый парень, почти мальчик, сидел тут же, склонясь над ним, и старался какою-то тряпкой остановить кровь, текущую из раны на лбу старика. Порою мальчик поднимал глаза, обводил безучастным взглядом бившихся и снова опускал голову, снова принимался за старое. По-видимому, он плохо сознавал, что происходит вокруг него.

Шум свалки заглушал топот коней боярина и Григория по мягкому снегу; Павел Степанович и его дорожный товарищ – последний несколько впереди – успели подъехать совсем близко к побоищу прежде, чем их заметили.

Григорий подскакал в то самое время, когда молодой человек, стоявший в санях, упал от удара дубиной по голове, последовавшего после возгласа красивого молодчика, державшего коней бойцов:

– Грицко! Хвати его дубиной! С ним, видно, так не сладишь... Ошарашь, ошарашь его!

– Вы чего же это душегубством по дороге занимаетесь? Вот я вас, воронье поганое! – крикнул по-русски Григорий, налетая с поднятой саблей на людей, окруживших сани и об-

матывавших веревками лежащего без чувств молодого человека.

Озадаченные неожиданным появлением защитников – боярин подскакал следом за Григорием – они растерялись и отступили в разные стороны. Их остановил окрик Стефана (малорослый красивый парень был он):

– Чего струсили? Не видите разве, что их всего двое? Бабы!

И он, быстро вскочив на своего коня, первый кинулся на Григория и Белого-Туренина. Его пример подействовал. Скоро при свете луны клинки сабель засверкали вокруг боярина и его спутника.

Павел Степанович хладнокровно отражал удары; он казался таким спокойным, как будто участвовал не в бою, а на простой потехе, ради того, чтобы скоротать время. Что касается Григория, то тот словно переродился. Его лицо, на котором играла довольная улыбка, казалось теперь почти красивым. Он гикал, посвистывал, подпрыгивал на седле, рассыпал удары направо и налево и в то же время успевал отражать саблю Стефана. Несмотря на все свое искусство, слуга пана Феликса должен был, хотя и медленно, отступать под напором своего горячего противника. Дошло, наконец, до того, что он был прижат к краю дороги, к сплошным колючим кустам.

Всего против боярина и Григория билось пять человек, кроме Стефана, но все это были довольно неискусные бой-

цы, так что, когда Григорий, увлекшись поединком с Лисом, постепенно отдалился от Белого-Туренина, Павел Степанович настолько успешно мог единоборствовать против них всех, что одного, тяжело ранив в руку, заставил бросить саблю и выйти из битвы, а другого замятво уложил на землю, раскроив ему череп.

Положение слуги пана Гонорового становилось все более критическим. Григорий уже почти загнал его в кусты, где конь Стефана был стеснен в движениях. Красавец-холоп не выказывал ни малейших признаков трусости. Он оставался хладнокровным, зорко следил за противником, выжидая удобного момента для нанесения удара, улыбка не сбегала с его лица, но на лбу от утомления выступили крупные капли пота, и рука отражала саблю Григория уже не с такою быстротой и ловкостью, как прежде.

В это время ему явилась помощь. Словно рев дикого зверя пронесся по лесу и стих, и недвижимая статуя – пан Феликс Гоноровый – ожила. Конь его взвился на дыбы и в два прыжка очутился подле Стефана. Сабля пана со свистом прорезала воздух, страшные, мертвые глаза глянули в лицо Григория.

IV. На волосок от смерти

Биться Григорию против двоих было нелегко. Он отбивал своей саблей удары, отклонялся то в одну, то в другую сторону от вражеских клинков. Теперь настала его очередь отступать. Стефан давно уже выбрался из зарослей, и, наоборот, Григорий был загнан своими противниками в кусты. Он чувствовал, что еще немного – и ему не устоять: биться с двумя такими бойцами становилось не под силу. Поэтому он вздохнул с облегчением, когда пан Феликс пробурчал:

– Стефан! Я один справлюсь. Поди, бейся с другим...

«Слава Богу! С одним-то я еще потягаюсь!» – радостно подумал Григорий, скрещивая свою саблю с оружием противника, когда Стефан, повинувшись панскому приказу, отъехал.

Однако и с одним паном Гоноровым нелегко было управиться. Пан не придерживался никаких, обычных правил, он рубил сплеча.

Здесь сила заменяла искусство. Кривая сабля его так и мелькала в воздухе. Григорию некогда было нападать – он едва успевал отбиваться. А пан все наступал. Его тяжелый, большой конь напирал грудью на сухопарого «степняка» и заставлял подаваться назад, все дальше и дальше в кусты.

Феликс не сводил своих стеклянных глаз с лица противника, и Григорий начинал как-то странно чувствовать себя под

этим застывшим взглядом. Он нарочно старался не смотреть в глаза противника, но его словно толкал кто: «посмотри, да посмотри!», и он, нет-нет, да и взглядывал против воли. «Ну и глазища же у него! Что у сатаны!» – думал Григорий, недовольный тем, что эти безжизненные глаза мешали ему биться. Да, мешали. Сначала он этого не сознавал, только чувствовал некоторую неловкость; его рука как будто действовала медленнее, чем всегда; потом он начал испытывать такое чувство, словно на него надели путы и стягивают ему руки, заставляют странно неметь все тело. Но это не была усталость – это была скорее какая-то вялость, апатия; нечто подобное чувствует человек, когда его «морит» сон.

Григорий бодрился, но непонятное состояние все усиливалось. Уже несколько раз он едва не был зарублен противником, лишь с большим усилием ему удалось уклониться от смертельного удара. И вот настал момент, когда сабля пана блеснула, заносясь над головою Григория, а он сидел неподвижно, не пытаясь уклониться от удара, не поднимая своего оружия навстречу противнику, глядел прямо в глаза пана Феликса и думал: «Да что же это я? Ведь он меня сейчас зарубит!»

Смерть его, казалось, была неминуема.

В это время темная масса стала между бойцами и разделила их.

Сабля панская опустилась.

V. После битвы

– Боярин! Он тебе плечо зарубил?!

– Ничего, пустое. Хорошо, что ты цел остался – близко было...

– Что и говорить! Совсем на краю могилы стоял. И что со мной случилось, понять не могу! Словно одурел. Ведь знаю, что сейчас конец мне, а саблю поднять силы нет. Кабы не ты – шабаш. Спасибо тебе! Вот уж спасибо! Век не забуду. Дай-ка-сь, я тебе плечо перевяжу.

– После. Теперь к саням пойдем. Вишь, лошади совсем в кусты зашли да бьются: опрокинут сани, чего доброго, либо ускачут.

– Не уйдут кони. Успеется. Поверни-ка плечо поскорей. И-и, какая рана! Как ее не перевязать? Этак и кровью изойти можно... Мы ее сейчас затянем – рану-то...

И Григорий, достав из привешенного к седлу узелка с дорожными припасами «про случай» рубаху, изорвал ее в длинные полосы и начал умело перевязывать рану боярина, заставив Павла Степановича, как он ни отговаривался, скинуть ненадолго кафтан и, несмотря на мороз, обнажить плечо.

Как закончилось побоище и каким образом Григорий остался живым и невредимым, а Белый-Туренин получил тяжелую рану? Для того, чтобы объяснить это, надо вернуться

ко времени боя.

Когда Стефан, по приказанию своего пана, предоставил ему одному биться с Григорием, он, немного переведа дух, так как устал за время поединка немало, направился туда, где находился Павел Степанович. Боярин бился с прежним хладнокровием; появление нового лица в числе противников его не испугало. Он старательно отбивал удары, не забывал наносить их сам и в то же время поглядывал в ту сторону, где бился Григорий.

Боярин вскоре заметил, что тому, кажется, приходится плохо. Понемногу он стал подвигаться поближе к Григорию. Вглядевшись в лицо своего дорожного спутника, он увидел в нем странную перемену. Григорий казался бледным, как мертвец, и с видимым усилием действовал саблей.

«Ранен!» – подумал боярин и уже решительнее двинулся к нему на выручку.

Желая выбраться из круга противников, он стал наносить удары быстрее прежнего. Стефан попробовал преградить ему путь и с пораженной правой рукой и грудью свалился с седла.

Павел Степанович поспел на помощь товарищу в ту самую минуту, когда сабля пана Феликса уже занеслась над головой Григория. Белый-Туренин, не раздумывая, заслонил собою своего спутника, и пан Гоноровый рассек ему плечо. Пострадало левое плечо, а потому это не могло помешать продолжению боя, и боярин не думал отступать. Побоище прекра-

тил сам пан Феликс. Биться с двумя сразу он не имел охоты. Слагать свою голову из-за неудачной попытки захватить в свои руки соперника по любви к прекрасной панне не входило в его расчеты. Он еще хотел пожить, и пожить хорошо.

– На коней! – крикнул он.

Его голос прозвучал, как труба. Мигом все его ратники, даже и тот, который до сих пор держал под уздцы троечных лошадей, растерянно смотря на происходившую свалку, вскочили в седла. Захватили с собою и раненых, в числе которых был и Стефан.

– К дому! – приказал Гоноровый, и весь отряд полным карьером умчался от места битвы.

– А ты, братец, умеешь перевязывать раны. Где это ты наловчился? – сказал Павел Степанович, когда Григорий заканчивал перевязку.

– Чего я не умею! – усмехаясь, ответил тот. – А наловчился я в Запорожье.

– Разве ты – казак?

– Был им. Кем я не был? Я и саблей махать не дурак, я и пером строчить мастак.

– Вот как! Сподобил, знать, тебя Бог.

– Да не только русскую, я и польскую грамоту знаю. И латынь учил... Ну вот, боярин, и готово! Теперь пойдем к саням, посмотрим, что там за народ.

Мальчик по-прежнему сидел, наклонясь над трупом старика. Когда Белый-Туренин и Григорий приблизились, он

мельком взглянул на них, но не сказал ни слова и продолжал прикладывать тряпку к ране старика, хотя кровь уже перестала течь. Молодой человек, на которого было произведено нападение, лежал поперек саней, так что голова и ноги его свешивались по одну и по другую сторону. Он не шевелился. Григорий приложил ухо к его груди.

– Жив. Сердце бьется. Да я и знал, что он жив: слышал я, как тот кричал, чтоб дубинкой ошеломили этого молодчика. Ошеломили, а не убивали. Стало быть, его только легонько пристукнули. Давай-ка-сь снегом его оттирать, – сказал Григорий и, взяв ком снега, начал тереть им виски молодого человека.

Павел Степанович помогал ему. Однако их старания не увенчались успехом.

Молодой человек стал дышать глубже и ровнее, но в себя не приходил.

– Делать нечего, придется так везти. Авось, очнется. Надо ехать... Паренек, а паренек! – обратился Григорий к мальчику.

Тот уставился на него.

– Откуда вы и куда ехали?

Мальчик не отвечал.

– Али у тебя языка нет?

– Тятку убили! – пробормотал парень.

– Что ж делать! Божья, знать, воля. Теперь, тоскуй не тоскуй – не поможешь. Скажи лучше, куда ехали, да как твоего

пана звать?

– Звать Максимом Сергеичем... Из Гнорова мы...

– Так. А куда путь держали?

– К невесте его. В Черный Брод.

– Далеко отсюда?

– Тут за лесом. Близко.

– Боярин, садись в сани! Коней своих привяжем позади.

Доведем Максима Сергеевича до его невесты.

– Тятьку, тятьку возьмите! – не своим голосом крикнул парень.

– Возьмем, не бросим при дороге... Эхма, мои лошадушки!

Григорий взял возжи в руки, потрянул ими, и тройка понеслась.

– Знаешь, боярин, ты останься в Черном Броде.

– Зачем?

– С такую раною тебе покой да уход нужен.

– А ты не останешься?

– Нет. Я и ночевать в панском доме не буду.

– Что так?

– Так, не с руки.

– Далеко ты едешь?

– Сам не знаю. Еду туда, где пошумней, полудней, где людей ратных побольше.

– Зачем это тебе?

– Эх, друг! Есть у меня думушка, да не пришла пора от-

крывать ее! Жизни сердце мое просит такой, чтоб дух захватывало! Или даром я учился? Или мозгов у меня мало, что должен в серости век свой коротать? Нет, товарищ! Не таковский я! Мне бы царством править, мне бы полки водить, а не так вот, в черном теле пребывать. И буду полки водить, буду!

Продрогшие кони, пугаемые завыванием волков, неслись с быстротой ветра. Лес все больше редел. Еще немного, и глазам путников представилась уходящая вдаль снежная, облитая лунным светом равнина.

Григорий встал и хлестнул по лошадям. Кони надали. Снежные хлопья из-под копыт били в лицо едущим.

Григорий стоял и помахивал вожжами. Глубокая дума виднелась на его некрасивом лице. Грудь неровно поднималась. Павел Степанович смотрел на него и думал:

«Ну, брат! Вон ты каков! Не ожидал!»

Черное пятно показалось вдали на белом фоне снега. Можно было неясно различить крыши изб и темную массу какого-то строения, стоявшего в стороне от изб.

– Черный Брод? – спросил Григорий парня. Тот молча кивнул головой.

– Усадьба? – опять спросил спутник боярина, указывая на темневшееся строение.

Парень снова кивнул головой.

Григорий остановил тройку и выпрыгнул из саней.

– Прощай, боярин!

– Ты куда же? Хоть бы доехал до деревни.

– Я полями наперерез скорее доберусь.

Григорий ловко вскочил на коня.

– Прощай, приятель, коли так. Свидимся ль? – проговорил Белый-Туренин.

– Свидимся! Верно свидимся, если живы будем. Только я тогда вряд ли буду простым Григорием.

– А кем же будешь?

– Кем? – усмехаясь, промолвил Григорий. – Быть может, царем! Ха-ха! Прощай!

– Прощай!

Боярин шевельнул вожжами. Тройка понеслась. Он глядел в ту сторону, где виднелась быстро уменьшающаяся фигура скачущего на своем «степняке» Григория.

«И хороший он парень, а мозги у него, кажись, немного не на месте», – думал Павел Степанович.

Его дорожный спутник казался уже темною точкою. Вот и точка пропала. Белый-Туренин оглянулся и посмотрел вперед. Большой панский дом, обнесенный изгородью, глядел на него рядами темных окон. В двух из них виднелся свет.

Тройка подъехала к воротам.

VI. Странный слуга

Ночь темна, но тепла. Уже с неделю, как погода размякла. Впрочем, и не диво – дело к весне идет, уже начало марта. Вон и ветер совсем не тот, что дул в середине зимы – теплый, будто ласковый. В зимнюю пору подуй ветер – в поле беда! Закурились бы все холмики и бугорки мелкою снежною пылью и понесли бы белые тучи навстречу путнику, обвили бы, засыпали бы его, заставили бы его прижмуриться и уйти головой в высокий воротник овчинной шубы да прибавить шагу, чтобы поскорее выбраться на дорогу – не ровен час, разыграется метель, тогда – верная гибель среди снежных сугробов. Теперь не то – снег слежался, осел, покрылся тонкою ледяною корою; ветру не взвить над сугробами столбиков снежной пыли.

В поле тихо. Лишь изредка доносит ветер что-то похожее на отдаленный смех и говор, долетает тихое ржанье и фырканье коней. Услышит это шагающий по колена в снегу, одетый в рваную овчину крестьянин и посмотрит в ту сторону, откуда звук идет, и вздохнет глубоко, увидев вдали желтенькие, тусклые, едва видные огоньки в лачугах таких же, как он, бедняков-поселян и залитые светом окна дворца ясно-вельможного пана князя Адама Вишневецкого, живущего в своем Брагине с королевскою пышностью, и подумает:

«Опять пирует князь Адам... И что за житье панское! Все

пиры да пиры... А у нашего брата коли хлеба без мякины есть вдосталь, так и то рад... Э-эх! И отчего так жизнь человеческую Бог соорил, что одному много, а другому ничего равнешенько?»

И почешет затылок мужичок, и еще раз вздохнет, и опять по-прежнему зашагает по глубокому снегу туда, где светит тусклый, но все же приветливый для него огонек в родимой избенке, где ждет его пара белоголовых чумазных ребятишек и вся высохшая от работы да голодухи баба.

Пируют паны, пируют и их челядинцы. Уселись они в кружки, человек по десяти в каждом и, то и дело опускают свои длинные усы в ковш холодного сладкого меда, который, пока пьешь, как будто и слабоват, а попробуй-ка встать, опорожнив добрую половину ковша – ноги не пойдут, тут же и растянешься на полу колода-колодой при громком смехе остальных, более выносливых «питухов».

Иные потягивают «вудку», есть и такие, которые пивом пенистым, хмельным балуются.

Шумно в челядне. Разноязычный говор – польский, литовский, русский – прерывается взрывами хохота, разухабистой песней... Жарко. Дверь входную открыли, и отраженные стенами звуки вылетают на двор и дальше, в снежное молчаливое поле, и затихают где-то там, в пространстве, далеко-далеко, быть может, у той звезды, которая проглянула сквозь облака с темного неба.

Но не все веселы в челядне. Вон в углу сидит рыжеволо-

сый приземистый человек. Он задумчив и не вступает ни с кем в беседу, не улыбнется, не выпьет ни глотка меда или «вудки». На него не обращают внимания – привычна всем его задумчивость.

Не первый месяц уже живет Григорий в числе челядинцев князя Вишневецкого, а веселым никто его еще до сих пор не видел. Всегда дума какая-то лежит на лице. От пирушек, от забав хлопцев сторонится. Товарищи его недолюбливают, но открыто не высказывают нелюбья: сунься, покажи, он тебе живо рукой головушку с плеч снесет!

Недаром его любит князь Адам: Григорий первым бойцом считается среди всех княжеских челядинцев. Да не только считается, таков он и есть на деле. Наезд ли Вишневецкий делает на какого-нибудь недружного соседа, едет ли на звериную ловлю – Григорий впереди всех. Тогда он весел. Шапка с алым верхом лихо на бок сдвинута, так что кисть золотая, которая кверху шапки прикреплена, до самого плеча свешивается; гикает он, посвистывает, улыбка во все лицо. А вернутся домой – опять сумрачен.

Порой и на него, впрочем, найдет полоса разговорная, оживится он, заговорит. Говорить он мастер! Заслушаешься. Да ему есть что и порассказать: видал всякое, хоть и молод. Начнет рассказывать про набег казацкие, про битвы с татарвою да с турками, а то – о мирном житье-бытье московском, об обычаях тамошних. Часто о царях говорит, особенно об Иване Грозном, о Феодоре. Начнет о Феодоре – непре-

менно вспомянет про смерть Димитрия-царевича и вздохнет всегда при этом так глубоко-глубоко, посетует, что пресекая царский корень... И у самого слезы в очах, и голос дрожит.

Дивились этому все немало: этакий молодец храбрый и вдруг слезы роняет, будто баба! А он примолкнет, иной раз на полуслове речь оборвав, отойдет в сторонку и смахнет слезу, потом сядет где-нибудь в уголку грустный-грустный.

Совсем не похож он был на других челядинцев пана Вишневецкого. Не даром про него и слухи ходить стали разные. Поговаривали втихомолку, что он совсем не низкого звания, что он – боярин московский, спасается от врагов своих, иные же пошептывали, что он, пожалуй, и еще повыше боярина.

Никто не знал, доходила ль до Григория эта молва, но он продолжал держать себя по-прежнему. Видали его часто за последнее время беседующим с духовником князя Адама, иезуитом, отцом Николаем. Это еще более подлило масла в огонь: что за беседы такие у важного княжеского духовника с простым слугою?

Сидя в стороне от пирующих и не вступая ни с кем в разговор, Григорий внимательно прислушивался. Сквозь царивший в челядне шум он старался уловить слова говорившего неподалеку от него уже немолодого человека.

Григорий знал его – это был Петровский, один из слуг Вишневецкого, русский, поступивший к князю не так давно.

Слушатели Петровского были тоже русские, исключая двух усатых поляков и одного угрюмого литвина, больше за-

ботившегося о том, чтобы его не миновал ковш с медом, чем о речи Петровского. А речь его была занята. Григорий за шумом не мог расслышать некоторых слов, но смысл речи уловил: Петровский говорил об убиении царевича Димитрия.

– Майский день был это, светлый, теплый... Послала царица Марья сыночка своего, Димитрия, погулять – знамо дело, хоть и царевич, а все дитё, – побегать, поиграть хочется... – говорил Петровский, продолжая рассказ. – Ну и вышли, значит, на крыльцо кормилица, Орина – мамка, Волохова боярыня и еще постельница, Марьей звать. Глядь, подходят к ним Осип Волохов, мамкин сын Качалов Микитка да Битяговский Данилка...

– И почему ты это все знаешь? – перебил рассказчика кто-то.

– Хм!.. Как не знать? Я ж в ту пору в Угличе у царицы Марьи в истопниках жил. Все я своими глазами видел, как раз по двору в ту пору проходил.

– Ну-ну, валяй дальше.

– Подходят это к ним, а уж царевич с Жильцовыми¹ ребятками об игре какой-то сговаривался, а кормилица на крыльчке присела, Волохова подле стоит с Марьей постельницей, беседует. Те-то трое все ближе подходят к царевичу да мальчикам жильцовым. И вижу я, что Волохов нож вынима-

¹ Жильцы – особый класс в Московской Руси, один из разрядов служилого чина.

ет да пробует, остер ли. «Что за диво такое, – думаю. – На что ему нож?» А Битяговский ему говорит: «Ты чего нож-то выставил? Спрячь в рукав!» – и не видит, злодей, что я тут близехонько стою и все слышу. Подивился я, да думал уже и со двора прочь идти, дело к тому ж у меня спешное было, вдруг шум тут поднялся да вой и рев такой, что я остановился, будто в землю врос, и шагу сделать не могу. Кормилица, вижу, плачет, рекой разливается и вопит не своим голосом, Волохова мечется у крыльца, что угорелая, постельница тоже, а Качалов, Волохов, Битяговский бегут в разные стороны, и лица у них не то от страха, не то от злобы мела белей и перекошены. На крик народ отовсюду бегом бежит. И вдруг звон по всему городу поднялся, будто к пожару; колокола так и гудят, а народ ревет, их заглушает: «Царевича злодеи убили!» Тут смекнул я, для чего нож Волохов вынимал. Крикнул я людям, кто злодеи, и пустился за Качаловым с братьею его нечестивою. Убил злодеев тогда народ, что звери на них накинулись... И поделом!

Петровский примолк.

– Ну, а царевич? – спросили сразу несколько.

– Нашли его, болезного, с гортанью перерезанной.

– Вот что. Стало быть, помер. А тут слух у нас идет...

– Какой?

– Да будто царевич Димитрий жив и объявится скоро, и царство себе вернет, – сказал кто-то.

– Так! И мы слышали!

– И мой пан толковал, – вставил свое слово угрюмый литвин, – об этом, слышал я, с одним приезжим боярином московским. Пан мой не верил, а тот честью заверял, что царевич жив и в Литве находится...

Петровский обвел всех торжествующим взглядом.

– Братцы! По совести скажу вам – здесь мне бояться нечего, здесь Литва, не Русь, Бориска меня не казнит смертью...

– Конечно! – гордо сказал по-польски один из поляков. – Здесь мы бы твоему Борису бока начистили! Казни москалей своих, а сюда не суйся – руки короткие!

– По совести скажу, братцы, – продолжал Петровский, – точно, Димитрий-царевич здравствует!

– А сам говорил...

– Постойте! Дай досказать! Гортань перерезали злодеи, да не ему – помутилось у них в глазах, знать, от страха! Зарезали парнишку одного жильцова.

– Ну?! А царевич?

– Царевич убег. Приютил его добрый человек один и увез в Литву, чтоб от Бориса укрыть. Видал я убитого мальчика, когда он в храме лежал – не Димитрий то, примет царевича нет.

– Дивно! – покачав головою, сказал один из сидевших. – Словно сказка!

– Иная быль диковинной сказки...

Все притихли.

– Да где же Димитрий? Что ж он не явится? – тихо про-

молвил кто-то.

– Появится, дай срок... – ответил Петровский.

Григорий быстро поднялся и подошел к сидевшим.

– Димитрий где? – заговорил тихо, почти шепотом, но так, что каждое слово его отчетливо отдалось в ушах слушателей. – Димитрий где? – повторил он. – Он близко... Быть может, здесь... За счастье царевича Димитрия!

И он, зачерпнув меду, осушил ковш до дна; потом поспешно вышел из челядни.

Сидевшие переглянулись с удивлением. Петровский наполнил ковш.

– За счастье царевича Димитрия! – повторил он фразу Григория и хлебнул глоток.

Ковш пошел по рукам.

VII. Иезуит

Отец Николай сидел за столом и медленно и четко выводил круглые буквы латинского шрифта. Свеча освещала наклоненную голову иезуита. Гладко выбритое лицо патера казалось выхоленным и упитанным, на щеках играл здоровый румянец.

Этот монах меньше всего напоминал собою монаха. Его скорее можно было принять за добродушного помещика, любящего сытно покушать, попить, вволю поспать. Привычная усмешка даже и теперь, во время письма, не сбегала с полных, чувственных губ отца иезуита. Часто мигавшие, заплывшие жиром глазки казались лукавыми.

Отец Николай, по-видимому, не задумывался над составлением фраз, рука его двигалась медленно, но безостановочно, латинские строки вытягивались ровными, красивыми линиями, без помарок и вычеркиваний, и слагались в стройные периоды.

«Вы правы, как всегда правы, святой и старейший брат мой, — выводила рука иезуита, — действительно, можно извлечь громадную пользу для нашей святой римской церкви из появления царевича Димитрия. Следуя вашему совету, я усердно распространял молву о его появлении в пределах Литвы. Паны меня с интересом выслушивают, многие верят, что слух справедлив, иные с сомнением покачивают головой,

называют подобный слух вымыслом праздных людей, но все согласны, что в случае, если все это окажется правдой, оно послужит к прославлению Литвы и Польши – поляки и Литва непременно помогут царевичу воссесть на родительский престол – и к посрамлению московских схизматиков. Мне не составляло особого труда разглашать о царевиче – глухая молва о нем шла уже и раньше; мне и братьям моим, которых я оповестил, оставалось только раздуть эту молву.

Откуда пришли толки о царевиче?

Они родились не здесь, в Литве, а донеслись из Московии. Я полагаю, что их привезли к нам опальные бояре царя Бориса: они так озлоблены на Годунова, что рады чем могут досадить ему.

Итак, мы нашли себе готовую почву.

Но где же он, этот Demetrius? Можно подумать, что он без плоти и костей, что он – вымысел людей озлобленных и со слишком пылким воображением. Вы пишете мне:

„Распространяйте молву о явлении царевича, разведывайте, не проявится ли он где. Быть может, этот царевич – только миф, но это нисколько не меняет дела: разве нам нужен действительный наследник Иоанна? Нам нужно, чтобы новый царь, заместитель Бориса, кто бы он ни был, явился послушным сыном римской церкви и подчинил власти святейшего отца нашего папы Климента VIII многие миллионы восточных еретиков“. Такое рассуждение справедливо: кто, как не истинный католик, наиболее достоин быть царем? Я нарочно

привел слова ваши, святой брат мой, чтобы перейти к дальнейшему. Возложенное на меня, смиренного, послушание я исполнил: слух раздул, насколько возможно, о Димитрии разузнавал и убедился, что истинный сын царя Ивана Грозного спит в гробе вечным сном. Явится ли смельчак, который захочет воспользоваться популярным именем и отнять престол московский у нынешнего царя? И, если явится, будет ли он в состоянии исполнить ту великую миссию, которую мы хотим возложить на него? Святой и старейший брат мой! Простите меня, дерзновенного, что я выскажу свое мнение: мне кажется, нам нужно самим найти его. У меня есть на примете один здесь. Он смел, честолюбив, какой-то ореол таинственности окружает его – никто не знает достоверно, кто он по происхождению. Он греческой веры, но склоняется покинуть схизму и вступить в лоно римской церкви – это он высказывал в беседах со мной. Кроме всего этого, он красноречив, довольно учен – знает русский и польский языки, не совсем чужд ему и латинский. Одним словом, это – человек замечательный. Такому нужно было бы быть Димитрию, чтобы оправдать наши надежды. Ради достижения великой цели должно употребить и великие усилия. Я готов приложить всякие старания, чтобы заставить этого человека согласиться принять на себя имя царевича. Благословите ли вы меня, святой брат»...

Патер не окончил фразы и поднял голову. Из полуотворенной двери на него смотрело прелестное женское личико.

Отец Николай отбросил перо, выпрямился и улыбнулся.

– Зачем прелестная пташка смотрит на черного ворона? – сказал он.

– Святой отец...

– Опять «святой отец»! Как мне неприятно слышать это из твоих розовых губ, Розалия! Не лучше ль – «пан Николай», а то просто – «родный, коханный пан». А? Хе-хе-хе! Да чего же ты не входишь?

Розалия вошла и остановилась перед патером, опустив глаза и перебирая руками оборки платья.

– Святой отец...

Иезуит досадливо дернул плечами.

– Опять?!

Она продолжала:

– От ясновельможного пана князя посланный пришел...

– Ну?

– Пир у пана Адама. Просит тебя, святой отец, не медля пожаловать.

– Гм... Пир. Гм... Значит, вино льется рекой, поются греховные песни... Скажи, пристало ль монаху пировать? А? Обет воздержания... Не пристало. По глазам твоим вижу, что и ты то же думаешь. А я все-таки пойду. Ты удивляешься? Пойду, не ради веселья, а чтоб свой долг исполнить. Да! Монах-иезуит все равно, что воин: он должен всюду идти бестрепетно. И я пойду. Я буду пить – о, мой желудок выдержит многое, – но для чего? Для того лишь, чтобы за

чаркой вина сказать пирующим назидательное слово, остановить, если начнут богохульствовать. Вот что. Да... Ты не знаешь, получил князь Адам новое вино, которого ожидал?

– Получил, только, кажется, немного.

– Немного?.. А!.. Это меня огорч... Кхе-кхе!.. Радует. Не перепьются. Надо спешить, выпьют без меня... Надо наставить их на путь истины, чтобы знали меру. Тащи шубу. Ты уж принесла? Что за прелесть ты! Шапка где?. А, вот! Щечки-то, щечки! Не любишь этого, хе-хе!..

Он ущипнул ее за щеку.

– Ишь, морщится!.. Хе-хе! Небось, другой бы...

– Что вы, святой отец!

– Нет другого? Тем лучше, тем лучше. Не заводи – грех. Ишь, губы, что кораллы! Боишься – поцелую? Хе-хе! Нет-нет. Я бегу. Надо торопиться. Выпьют все... Ах, грехи, грехи! – сокрушенно добавил он, направляясь к двери.

В дверях он приостановился.

– Письмо я на столе оставил... Гм... Розалия! Ты латынь знаешь?

– Где мне!

– Так. Я тут письмо забыл. Убрать некогда. Ты никому его не показывай. Слышишь?

– Кому я могу?

– Бог тебя знает, плутовка. Вон, глазки-то какие лукавые... Ай, опять с тобой заговорюсь! Лучше бежать!

VIII. «Пташка»

Розалия осталась одна во всем домике, который был отдан для жилья Вишневецким отцу Николаю. У иезуита было холопов довольно, но все они убежали на пирушку еще до ухода патера.

Розалия остановилась у стола.

«Ушел, наконец, слава Богу! А он-то – придет ли?» – проносится в ее голове. И слышит она, как беспокойно бьется ее сердце, как нервная дрожь ожидания пробегает по телу. И время тянется... Ах, как медленно идет оно – «словно волны на работе», мелькает у нее сравнение – когда приходится его ждать; зато, как быстро летит оно – «будто ласточка-касаточка» – когда он с ней. Еще бы – «он»! Будь другой на его месте, время не побежало бы быстрее, как никогда этого и не бывало, пока с «ним» не познакомилась. Давно ли это было? Всего месяц какой-нибудь назад чужак-чужаком он был для нее, а теперь?..

Задумалась Розалия. Облокотилась она на стол и смотрит, не мигнет, на пламя свечи.

У Розалии худенькое, острое личико. Брови, тонкие, как две дуги, поднимаются над небольшими серыми глазами. Цвет лица белый до бледности, и от этого губы кажутся алее. Нос тонкий, с легкой горбинкой. Белокурые волосы прикрывают уши. Тонкою, хрупкою выглядит Розалия. Кажется,

дохни на нее сильней, она и растает, словно восковая.

Отец Николай назвал ее пташкой; сравнение иезуита было верно: похожа она на пташку. Так и сам пан Адам ее называл, когда вздумалось ему подарить Розалию своему духовнику. Пришла же блажь в его хмельную голову отдать «пташку черному ворону»! Случайно это вышло. Пир был у князя и к концу уже подходил не потому, чтобы яства все были съедены или вина выпиты, а потому, что уже не вмоготу гостям больше стало пить и есть. Один только «отец» Николай да сам пан Адам держали кубки в руках.

– Ни у кого из вас, паны, таких красоток в дворне нет, как у меня! И все мои: которую захочу, ту и возьму! Рабыни! Холопки! – расхвастался князь.

– Ну, уж и ни у кого! – буркнул кто-то.

Князь стукнул по столу кулаком так, что посуда запрыгала. Потом он закрутил ус.

– Посмотрим! Гей, холопы! – крикнул он: – Выбрать из дворни девок самых красивых да привести сюда! Мигом!

Приказал пан – «мигом», так и сделали. Целый ряд высоких и низких, полных и худощавых, дышащих здоровьем и бледных женщин прошел перед гостями. Одна за другой, то бледные, дрожащие, то красные от смущения, подходили девушки и останавливались как вкопанные в нескольких шагах от стола. Гости пересмеивались, подмигивали им, сыпали бесстыдными шутками, разбирали их, как лошадей, по статьям, а они не смели шевельнуться, пока князь не подаст

знака уйти. Вишневецкий расхваливал каждую на всякие лады.

– А где эта маленькая – как бишь ее... Розалия? – спросил он вдруг.

Холопы мялись.

– Ну?! – грозно промычал Вишневецкий.

– Не пошла она... – пробормотал один холоп.

– Не пошла?! – рывкнул пан Адам, и глаза его налились кровью. – Привесть! Принести, если не пойдет! А вы – вон! – махнул он девушкам.

– Ты что ж не шла? Убью! – свирепо выговорил князь, подходя к Розалии, когда она, плачущая, трепещущая, предстала перед гостями.

– Этакую красотку, да убивать?! Грех! – пробормотал заплетающимся языком иезуит Николай.

Вишневецкий сразу повеселел.

– Красотку? А? Не правда ли? Ишь, крохотная какая, что девочка, а сложена! Богиня римская! Ну-ка, тряпки прочь! – крикнул он Розалии.

Та не понимала, чего от нее хочет пан.

– Тряпки прочь, говорю! – крикнул он и рванул с ее плеч платье.

Девушка вскрикнула и закрыла руками вспыхнувшее яркой краской стыда лицо.

Сильный, как вол, князь Вишневецкий сорвал ее с пола, как перышко, поставил на свою ладонь и высоко приподнял,

удерживая равновесие. Розалия отняла руки от лица. Длинные белокурые волосы ее распустились. Она пыталась прикрыть ими свою наготу, и они золотистой волной падали с ее плеч. Эта маленькая полуобнаженная девушка была прелестна. Формы женщины еще боролись в ней с формами девочки, но уже в целом чувствовалась гармония. Девственно чистая, стыдливая, она была прекрасна той красотой, на которую можно молиться, потому что в такой красоте сквозит веяние чистого духа. Такая красота есть всюду в мире, как в целом, так и в ничтожных частях его, но, чтобы познать ее, нужно до нее возвыситься, нужно забыть на миг «земного человека», и небесную искру, брошенную в душу каждого, превратить в тихое пламя.

Этого не мог сделать ни пан Вишневецкий, ни иезуит, ни пьяные гости. Их глаза загорелись страстным огоньком, концы губ подергивались.

– А? Какова, какова!.. – приговаривал князь Адам и искал сравнения. – А, какова... пташка?

– Пташка? Да, пташка! – пробормотал иезуит и осушил свой кубок.

Вишневецкий захохотал.

– Ха-ха-ха! Так на же, утешайся с этой пташкой, черный ворон! Дарю! Бери ее себе!

И пан Адам кинул Розалию в объятья отца Николая.

– Спасибо... Я ее возьму к себе только... экономкой... не более, – проговорил иезуит, скромно опуская глаза.

Так попала она в дом отца-иезуита, который никогда не отказывался от участия в пирушках своего ясновельможного пана.

Но иногда на патера находили полосы раскаяния, ему грезились ад и бесы, хохочущие и пляшущие вокруг его упитанного тела; в это время – во время раскаяния – он верил во все: и в ад, и в чистилище, как самый пламенный сын римской церкви. Мурашки холода пробегали по его телу. Он становился холодно-суров, начинал вести аскетический образ жизни, молился по целым дням. Вместе с собою он заставлял молиться и Розалию.

Розалия повиновалась. Она опускалась на колени, набожно устремляла взгляд на икону, но не молилась. Правда, рука ее творила крестное знаменье в такт читаемым нараспев латинским молитвам отца Николая, но молитвенного настроения в ее душе не было.

Она крестилась, крестилась, но слова покаяния не слетали с ее языка, сознание какой-либо вины не пробуждалось.

Пришла пора ей молиться иначе позже, когда она сблизилась «с ним». Как не понравился «он» ей, когда она его впервые увидела! Рыжий, некрасивый, неравнорукий... «Какой противный!» – подумала она.

И со второй же встречи все пошло иначе. Он подошел к ней, заговорил, взглянул, кажется, в самую ее душу своими тусклыми голубыми глазами – и свершилось чудо! Этот некрасивый человек, почти уродливый, стал ее господином,

она – покорной рабыней. Она покорилась не сразу. Она боролась, возмущалась собою, искала прибежища в молитве – тогда она поняла, что значит молиться! – но, наконец, покорилась. В нем таились могучие страсти; они прорвались и захватили ее, и заставили странно затрепетать ее маленькое тело, забиться сердце. Она поняла, что значит страстно любить, что значит добровольно отдаться любимому существу. Ей открылся рай, и ничтожными казались в сравнении с ним те адские муки, о которых в порывах раскаяния говорил ей отец Николай. Да если бы они – эти муки – были еще ужаснее, они не остановили бы ее.

Полюбив его, Розалия в первый раз сказала себе: «Я счастлива!» А между тем, в этом счастье было много горечи, хотя бы вот этакое долгое ожидание, когда сердце рвется от тоски или когда он приходит сумрачным. За последнее время это все чаще стало повторяться. Его гнетет какая-то дума, это ясно для Розалии. Она допытывалась. Он или отмалчивался, загадочно глядя на нее, или отвечал:

– Погоди, узнаешь. Еще не пришел срок!

Часто она обвиняла себя, что он печален: верно, она мало ласкает его. Она удваивала ласки, он оживлялся, но потом опять погружался в свою угрюмую думу.

Тяжело бывало Розалии, но все это искупалось, когда он привлекал ее к себе, страстно целовал, называл «своею коханкой».

Свеча стояла больше, чем наполовину; длинный нагорев-

ший фитиль согнулся дугою, и пламя меркло.

Розалия оторвалась от своих дум, сняла нагар со свечи и заходила по комнате.

«Господи! Что же он не идет!» – думала она и сжимала грудь своими маленькими руками, точно желала сдержать биение своего сердца.

От крыльца донесся шум шагов.

Розалия бегом бросилась к крыльцу.

– Ты? Ты, Григорий?

– Я, любя моя! – послышался голос из темноты.

– О, мой дрогий! О, мой коханий! – дрожащим от радости голосом проговорила она.

IX. Перелом

– Опять невесел! Опять сумрачен, как день осенний! – говорила Розалия, заглядывая в лицо Григория.

– Нет, я ничего...

– Ай, не добрый! Зачем обманываешь меня? Вижу, вижу... Что тебя кручинит? Скажи, милый! Скажи, родной!

Ее глаза почти с мольбою смотрели на него.

– Есть ведь кручина? Да? Поведай, о чем кручинишься?

Григорий сжал ее руки в своих.

– Да!.. Да, есть у меня кручина... – заговорил он быстро, и новое, никогда прежде не виданное Розалией выражение появилось на его лице. – Да, есть! Скажи, не кажется ли тебе, что чудно устроен наш белый свет. Почему мы с тобой в маленьких людях и терпим молча обиды и поношенья от сильных мира сего? Хуже мы других? Не хуже! Раскрой мою грудь, вынь сердце да загляни в него, что в нем таится, не найдешь такого и у самого ясновельможного князя Адама! Да что у него! У круля польского не найдешь! Чем виновен я, что родиться мне пришлось в маленьких людях? Судьба ошиблась, не туда меня кинула! Так я исправлю ее ошибку... Я хочу счастья, хочу жизни!.. Понимаешь, о чем я кручюсь?

Он волновался и до боли сжимал ее руки. Розалия смотрела на него с некоторым испугом. Она тихо высвободила

свои руки.

– Понимаю, – промолвила она, – понимаю... Только можно ль об этом кручиниться? Всякому свое. Да и разве уж такое счастье быть паном? У них свои беды... А счастье... Господи! Да разве счастье панством, богатством дается! Сидеть вот этак с коханным своим и речь его слушать, и каждое слово ловить, и в сердце свое укладывать, и знать, что только одна, ты любя ему, как и он один тебе – ах, милый! да разве это не есть счастье? Что нам до панства, что нам до чертогов их золотых? Коханный! Любишь ли ты меня?

– Люблю.

– Так чего же еще нам надо? Ты вон панам можешь завидовать, а мне ничего не надо, ничего, только б век с тобой быть, только б знать, что любишь ты меня... Я счастлива, милый, счастлива! А ну, пан мой, развеселись, скажи, что и сам ты хоть чуточку-чуточку счастлив!

Она обвила руками его шею и, улыбаясь, заглядывала ему в глаза.

Григорий смотрел на нее и думал:

«А что, ведь, пожалуй, ты правду сказала, моя маленькая девунька. Не в любви ли одной и сокрыто истинное счастье?»

И чувствовал он, что в этот миг уже не так его тянет к славе и богатству, и панский блеск как-будто потускнел от другого блеска – от блеска горящих счастьем глаз этой любящей девушки.

Любил ли он ее? Ему нравилось ее худенькое миловид-

ное личико, маленькое стройное тело. Так игрушка занимает ребенка. Если игрушку отнимут, ребенок поскучает, но скоро утешится новой. Если бы вынудили обстоятельства, Григорий, не задумываясь, покинул бы Розалию. Быть может, он посетовал бы на те условия, которые заставляют его расстаться с этой девушкой, но изменить их не постарался бы.

Его сближение с Розалией не было основано на страсти – им руководил расчет получить частый доступ в дом иезуита и, быть может, провести там что-нибудь полезное для себя.

Если средством для достижения этой цели явилась хорошенькая девушка, то Григорий тем более был доволен.

Бывали, впрочем, моменты, когда он сам начинал думать, что любит Розалию. Один из таких моментов был и теперь. Он привлек к себе девушку, покрыл поцелуями ее зардевшееся личико.

– Милая ты, хорошая... – говорил он.

Потом он посадил ее к себе на колени, как ребенка, взял ее руки и целовал их. Свеча нагорела и коптила.

– Подожди, я поправлю, – сказал Григорий, потянулся и сбросил нагар.

В это время взгляд его упал на недописанное письмо отца Николая.

– Что это? Посланице? – проговорил он, протягивая к письму руки.

– Нельзя, нельзя! Отец Николай не велел! – воскликнула Розалия и шаловливо закрыла от него письмо.

– Даже мне нельзя?

– Даже и тебе. А прочесть хочется? А вот не дам его тебе!

И она, смеясь, отбежала с письмом в руках на другой конец комнаты.

Григорий бросился за нею. Она весело смеялась и змейкой выскользывала из его рук. Он не смеялся. Его лицо было бледно, на лбу вздулась жила. Он мял руки девушки так; что кости хрустели, но Розалия думала, что он шутит, и продолжала, смеясь, отбиваться от него и не давать письма. Наконец, она запыхалась.

– На, на уж, возьми, Бог с тобой! Все равно немного прочтешь, ведь оно латинское, ха-ха-ха! – сказала она, подавая ему письмо.

И была пора – в его глазах уже начали мелькать недобрые искорки. Григорий жадно схватил письмо, наклонился над ним. Он плохо знал латынь, читал медленно, многих слов не понимал, но смысл письма уловил.

Пока он читал, Розалия что-то говорила ему, но он не слышал. Пальцы его, державшие письмо, дрожали.

Когда он окончил чтение и опустил листок на стол, Розалия, взглянув на него, невольно воскликнула:

– Григорий! Что с тобой?!

Он был бледен как мертвец, руки его тряслись от нервной дрожи, а глаза горели лихорадочным огнем.

– Что со мной? – невнятно проговорил он бледными губами. – Что со мной?

И вдруг он схватил девушку, приподнял над собой и проговорил, задыхаясь:

– Царем буду! Понимаешь, московским царем!

Потом он опустил испуганную Розалию и взялся за шапку.

– Прощай!

– Григорий! Что ты? Так скоро? – воскликнула она.

Но Григорий уже не слышал ее возгласа, он уже бегом спускался с крыльца.

Он не пошел в челядню, но побежал в поле. Голова его была, как в огне, грудь тяжело дышала. Он сбросил шапку, раскрыл ворот кафтана и подставил грудь ветру. В его мозгу проносилось:

«Значит, буду царем! Решено!»

И ему мучительно захотелось крикнуть на весь мир о своем решении. Он поддался искушению и крикнул среди тьмы и снежных сугробов:

– Царевич я, Димитрий!

Скоро клич этот прокатился из конца в конец по Польше с Литвой и по Московии.

Х. Больной

Еще только брезжил рассвет, когда Матвей, один из слуг Вишневецкого, проснулся. Ему почудилось сквозь сон, что кто-то громко стонет невдалеке от него. Матвей прислушался. Все было тихо.

– Тьфу! Наваждение лукавого! – пробормотал он.

Голова его уже склонялась к подушке, когда стон явственно прозвучал в тишине, нарушаемой только легким храпом спящих.

– Кто стонет? – спросил Матвей.

– О, Господи! Иисусе Христе! Не приведи умереть без покаяния!

– Это никак ты, Григорий?

– Ой, я! О-ох, моченьки моей нет!

– Недужится?

– Смерть моя приходит.

– Полно тебе, никто, как Бог.

– Ой, нет! Чую! Добрый человек!

– Ась?

– Сделай Божескую милость...

– Ну-ну?

– Сбегай за попом: покаяться хочу...

Матвей поскреб затылок.

– Гм... Рад бы, да ведь ты русской веры, где ж попа-то

найдешь? Нет близко. Я сам год уж из-за того в храме Божьем не бывал.

– Позови хоть латинского – все равно поп...

– Разве что... Сходить к езувиту панскому, что ль?

– Сходи, добрый человек! На том свете за тебя буду Бога молить.

– Да уж ладно, схожу... Эх, жизнь! – добавил Матвей, раздосадованный и тем, что приходится оставить надежду на сон, и тем, что вот вдруг, ни с того, ни с сего помирает молодой парень-здоровяк, и тем, что надо идти будить «езувита».

Одеваясь, он с завистью глядел на сладко похрапывающих сотоварищей и излил свое раздражение возгласом:

– Чего, черти, дрыхнете! Тут душа христианская с телом расстаться готовится, а они спят, что безногие!

Почему безногие должны спать особенно крепко, этого, вероятно, не разрешил бы и сам Матвей, но окрик подействовал: кое-кто зашевелился и осведомился, что за шум. Скоро уже вся челядня пришла в движение.

Матвей побежал за отцом Николаем. Любопытствующие и соболезнующие окружили ложе больного.

Григорий, казалось, лежал в полузабытьи. Грудь его поднималась тяжело и неровно. По временам он открывал глаза, обводил взглядом стоявших у постели и вновь закрывал. Иногда он начинал метаться и неясно произносил какие-то слова. Вслушавшись, можно было разобрать: «Царевич... Бежал... Бориска»...

Случайно он шевельнулся сильнее, ворот сорочки открылся, и на груди его сверкнул драгоценными камнями большой золотой крест. Он тотчас же запахнул ворот, причем что-то похожее на испуг выразилось в его глазах, но крест уже был замечен окружающими, и они многозначительно переглянулись. В их взглядах можно было прочесть: «Истинная правда выходит, что он не простого звания – крест-то какой!»

Пришел отец Николай, заспанный, не в духе.

Он не совсем охотно шел напутствовать «еретика». Была еще и другая причина для его неудовольствия: умирал человек, на которого он имел свои виды.

Когда патер приблизился к больному, все отошли от постели. Григорий лежал с закрытыми глазами и не шевелился. Иезуит внимательно взгляделся в его лицо.

«Он еще не так плох», – подумал патер, выдавший на своем веку не мало умирающих.

– Сын мой... – проговорил отец Николай, наклоняясь к Григорию.

Больной открыл глаза.

– Отче!.. Час мой приходит! Покаяться хочу... – слабо заговорил Григорий.

– Надо надеяться на милость Божию, сын мой, но покаяться всегда хорошо... Не забудь, кроме того, что тебе придется исповедаться у католического священника, а не у схизматика, ты должен благодарить Бога за такое счастье: твоя

душа, несомненно, попадет в рай.

Григорий кинул из-под полуопущенных век быстрый насмешливый взгляд на патера, но тотчас закрыл глаза и заговорил, тяжело вздохнув:

– Облегчить душу хочу... Тайна великая есть у меня.

– Говори, говори, сын мой. Я слушаю.

Григорий зашептал.

В челядне стояла гробовая тишина. Столпившиеся в углу слуги, притаив дыхание, наблюдали за происходившим.

Они видели, как патер, сперва равнодушно кивавший головой в такт речи исповедующегося, вдруг слегка отпрянул от постели больного, как он поднес руку ко рту, чтобы не вскрикнуть, как изумление выразилось на его бритом, сразу покрасневшем лице. После этого иезуит еще ниже наклонился к Григорию. Теперь он уже не кивал равнодушно головой, он впивался глазами в лицо Григория, делал жесты, не совсем подходящие к торжественности минуты; одним словом, еще никогда никому не приходилось видеть иезуита в таком волнении.

Исповедь продолжалась долго. Когда, наконец, отец Николай приподнялся и скороговоркой, неровным голосом проормотал по-латыни формулу отпущения грехов, он поспешно спросил у холопов:

– Что, пан Адам еще почивает?

– Почивает.

– Как проснется – немедленно доложите мне! – приказал

он.

После этого он ушел из челядни, и все видели, что он, проходя по двору, покачивал головой и размахивал руками, рассуждая сам с собой.

– Должно, сказал он езувиту что-нибудь, ой-ой, какое! – пробурчал в раздумье Матвей.

– Н-да. Надо думать, – ответили ему.

– Как бы еще не напредило, – добавил простоватый мужик.

Вокруг него засмеялись.

– А что ж? – оправдывался он. – Наговорил, может быть, такое, что пан разгневется. Он-то помрет, ему что! А пан князь на мне сердце и сорвет. Вот те и пожалел душу христианскую на свою голову... Э-эх, грехи!

И он сумрачный побрел прочь от хохотавших товарищей.

Григорий неподвижно лежал на своем ложе. Он казался спящим или в забытии. Лицо его то вспыхивало, то бледнело.

XI. Пан и патер

Князь Вишневецкий проснулся очень не в духе, и причина его дурного расположения была проста: наступающий день обещал быть очень скучным. Последние гости вчера уехали, никаких развлечений не предстояло. Как убить время? Над этим вопросом, лежа в постели, раздумывал пан Адам. Ехать на охоту – что за приятность в весеннюю ростепель? Да и какая в это время года охота? Для этого есть лето, ранняя осень, даже зима – особенно если на медведя, но весна... Да и надоело. Ах, все надоело! Заняться разве ратной потехой? Вывести полки своих гусар, казаков... Но и эта мысль не показалась заманчивой князю, и он опять пробормотал:

– Э! Все надоело! Все!..

Он откинул одеяло и сел на постели. И вся его фигура, обрюзгая, заплывшая жиром, и красноватое лицо, на котором, как два куста, возвышались косматые брови над свинными глазками, и неправильной формы нос, который торчал над огромными усами, падавшими к жирному подбородку, – все выражало полнейшую апатию и недовольство собою и всем окружающим.

Некоторое время пан сидел, все еще продолжая раздумывать, чем бы заполнить предстоящий день, потом зевнул, взъерошил свои редеющие темные волосы и, решив, что ни до чего не додумается, крикнул:

– Одеваться!

Князь одевался медленно, ругал слуг, швырял в них чем попало. Безропотные рабы молчали, появлялись в панской опочивальне и исчезали, как тени. Наконец, когда пан Адам был одет, ему робко доложили:

– Отец Николай хочет повидаться с ясновельможным паном.

– Что ему надо? – ворчливо заметил князь и добавил: – Зови!

Патер не замедлил войти. Лицо его застыло в торжественно-сосредоточенном настроении.

– Добрый день, сын мой.

– Добрый день, святой отец, – ответил князь Адам, подходя под благословение. – Что нового?

– Я должен сообщить тебе удивительную вещь.

– Именно?

– У тебя в доме пребывает царевич Димитрий, – торжественно проговорил иезуит.

Вишневецкий вытаращил глаза от удивления.

– Что?!

– Да, московский царевич Димитрий.

– Сын Ивана Четвертого?

– Да.

– Фу! Это нечто невероятное!

– А, между тем, это – истинная правда.

– Да где же он, этот царевич?

– Позволь, я тебе расскажу все по порядку. Сегодня я был позван к одному из твоих слуг дать ему напутствие.

– К кому?

– К Григорию.

– К Григорию? Мой любимый слуга... Я и не знал, что он болен. Умирает?

– Сказать между нами, он не так плох, поправится.

– Но он ведь схизматик. Как же ты мог?..

– Милосердию католической церкви нет пределов! – опустив долу очи и сложив руки на груди, ответил патер.

– Твое слово – истина. Ну, и что же дальше?

– На духу мне Григорий открыл тайну...

– Ну?! Не он ли – царевич?!

– Так есть.

Вишневецкий громко расхохотался.

– Чего ты? – холодно спросил иезуит.

– Ой, не могу! Да разве это возможно?

– Почему нет? Ведь слух о царевиче давно ходит. Он мне все подробно рассказал... Я не сомневаюсь, что Григорий – истинный царевич.

Князь Адам перестал смеяться и в раздумье тер себе лоб.

– Но это невозможно! Никогда не поверю! – пробормотал он.

– Я вполне верю Григорию, – заговорил медленно патер, – но если даже допустить, что он лжет, то все-таки нам нужно оставить это на его совести и помочь ему. От этого, как я

убежден, кроме пользы для нашей святой церкви и Польши, ничего иного не будет.

– Твоя правда, – задумчиво отозвался на слова иезуита Вишневецкий.

– Ему нужно дать средства достичь престола.

– Гм... А если он – не царевич, а только мой слуга?

– Оставь, говорю, это на его совести... Кроме того, у него должны быть доказательства.

Глаза пана Адама сделались веселыми: находилось дело не только на сегодняшний день, но еще и на много других.

– Ладно. Будь по-твоему, святой отец, – промолвил он и вдруг расхохотался так, что его бычья шея побагровела. – Ведь, этак – ха-ха-ха! – ведь этак мой слуга может сделаться царем москалей! Ха-ха-ха! Вот мы каковы! Царевичи у нас в слугах живут! – самодовольно говорил он между приступами смеха. – Знай наших! – добавил он, лихо закручивая усы. – Пойдем, святой отец, поскорее к царевичу.

ХII. Во тьме ночной

Уже давно перевалило за полночь, но Лизбета, младшая дочь пана Самуила Влашемского, не спит. Она даже еще и не пыталась лечь – все равно не уснет, знает по опыту: ей уже не первую бессонную ночь приходится проводить за последнее время. Она тихо бродит по спальне. Свечи Лизбета не зажгла, и комната освещается только лампадой, теплящейся перед иконой Богородицы Ченстоховской. В полусвете ее небольшая фигура кажется еще меньше; длинные черные волосы распущены, падают частью на плечи, и лицо Лизбеты, окруженное ими, как рамкою, выглядит от контраста очень бледным; огромные глазные впадины обведены тонкими, гордыми, приподнятыми к вискам бровями; цвета глаз не разобрать, но можно догадаться, что он черный.

Лизбета медленно прохаживается по комнате. Она то поднимает руки и сжимает ими голову, то заламывает их, то вдруг останавливается перед иконой и начинает часто-часто осенять себя католическим крестом: быть может, молитва поможет унять ту душевную смуту, которая ею овладела. Но, видно, не помогает и молитва, потому что через несколько минут Лизбета уже отходит от иконы и вновь начинает прохаживаться.

Вот она подошла к окну и открыла его. Апрельская ночь прохладна. Девушка жадно вдыхает свежий воздух, полный

аромата распускающейся зелени. Лизбете кажется, что теперь ей легче – по крайней мере кровь не так сильно стучит в висках, и думы, которые беспорядочно пронеслись в ее голове, как ласточки в ясный день, начинают проясняться и течь более спокойно.

Струя свежего воздуха пробралась в комнату и тревожит спящую тут же старшую сестру Лизбеты – Анджелику. Она проснулась, подняла голову. Свет лампы едва достигает до Анджелики, овал ее полного лица неясно рисуется в сумраке.

– Лизбета!

– Ну? – неохотно откликается девушка.

– Что это ты выдумала? Спать ложись...

– Сейчас, – нехотя отвечает Лизбета, продолжая смотреть в окно.

– Придумает же! Точно жениха поджидает, – добавляет полусонным голосом Анджелика, уже снова охваченная дремотой, опуская голову на подушку.

«Вот и все они так! Все! И матушка, и сестра, и старая няня – все точно за девочку еще считают!... „Жениха поджидает!“ – звучит в ушах Лизбеты насмешливое замечание сестры. – Почему же я не могла бы поджидать жениха? Анджелика ведь может, а мне нельзя? Что я – девочка, в самом деле? Любить не умею? Знали бы вы!»

Слезы подступают к глазам девушки.

«Умели бы вы так любить!» – продолжает думать она.

Да, она любит, любит. Раньше стыдилась сознаться в этом себе самой, а теперь хоть на весь свет крикнуть готова: *люблю!* Он любит ли ее?.. Верно, нет! Он и внимания, пожалуй, не обращает на нее, тоже, может быть, за девочку считает – она ведь такая худощавая, малорослая. А полюбил бы... Господи! Чего бы она ни сделала, чтобы он полюбил!.. Рабыней его стала бы, только бы полюбил!..

С первого раза он показался ей совсем особенным человеком, не похожим на других... Добрым, хорошим... Запомнился ей тот день, когда она впервые его увидела. Привез он тогда спасенного им пана Максима... Сам ведь ранен был, а привез. А после, когда рана его разболелась и он лежал такой бледный, слабый, исхудалый, сколько раз она украдкой смотрела на него. «Голубчик! Отчего он всегда такой печальный, задумчивый?.. Сам еще молод, а в бороде просесть... Бедный! Верно, много страдал. Он – боярин московский... У них в Московии, говорят, боярам жить тяжело, не то, что нашим панам... Узнать бы, что у него за горе, утешить его... О! Она сумела бы утешить! Зацеловала бы, заласкала... Быть может он скоро уедет... Расстанемся навеки и знать не будет, что я тут горюю, изнываю в тоске по нем... Где ему знать! Дня через два после разлуки он уж и забудет, что есть на свете панна Лизбета. О, Господи! Господи! Что мне делать! Что мне делать!» – мучительно проносилось в голове девушки.

«Открыть бы ему всю душу мою, все помыслы тайные... Сказать ему: „Москаль коханный! Рвется сердце мое от тоски

по тебе! Возьми меня хоть в холопки к себе, только б век с тобою быть!..“ Духа не хватит. Нет, хватит, хватит! Решусь, так хватит... И решусь, решусь! А вдруг он оттолкнет меня от себя?.. Не люблю тебя, полячку, скажет... Что тогда? Тогда... Господи! Да неужели так будет? Ведь вон все хоть и за девочку меня считают, а все говорят: „Какая панна Лизбета красавица!“ Да я и в самом деле красавица! Чувствую я это. Анджелика красива, а я еще красивее... Знаю я это. Неужели же у него сердце каменное, что и красота не подействует? Человек ведь он, хоть и особенный... Ой, как быть?! Решиться? Либо счастье, либо всему конец...»

Лизбета чувствовала, как краска волнения заливает ее щеки, как сердце колотится часто-часто. Дрожащие губы ее повторяли все одно слово:

«Решиться? Решиться ли?»

Вдруг она порывисто захлопнула окно, бегом бросилась к своей постели, сбросила платье, вся дрожащая, похолодевшая закрылась с головой одеялом, и в ее мозгу пронеслось: «Решусь! Решусь!» Она лежала съезжившись, не двигаясь, и все прислушивалась к этому слову, и казалось ей, что это не в ее голове мелькает – откуда-то извне идет звук, что вся комната, весь дом полон этим роковым словом. Она легла лицом в подушку, закрыла уши, но: «Решусь! Решилась!» – гудело по-прежнему.

Анджелика крепко спала. Ей снился странный сон. Она

видела его – пана Максима, своего жениха, стройного, красивого, веселого, как всегда, и рядом с ним себя – высокую, полную девушку, с темными, но не черными волосами, с темно-голубыми глазами, большими, с поволокой – говорят, ее глаза красивы на редкость, недаром пан Максим так часто любуется ими. Она весела, как и жених, смеется, – он рассказывает ей что-то забавное. Еще бы им не быть веселыми! Они уже сговорены, скоро свадьба, о чем им печалиться? Неподалеку от них сидит ее мать, пани Юзефа, с какою-то работой в руках, а вон подходит отец.

Все они в поле. День летний, ясный. Солнце играет вдали на волнах речки. Откуда-то доносится запах свежего сена. Хорошо! Почему же не весел отец? Она видит на его добром лице смущенную улыбку – такую улыбку у него ей приходилось не раз замечать в то время, когда пани Юзефа делает ему выговор – а глаза смотрят грустно. Как будто даже слезы в них блестят... Пани Юзефа тоже не разделяет веселости молодых, она углубилась в вязанье и не взглянет на них. Ее желтое, сухое лицо строго, почти сурово.

– О чем ты печалишься, батюшка? – с удивлением спрашивает Анджелика.

Отец не отвечает, а только указывает рукой на что-то вдали. А там вдали, на краю неба, облако, темное, зловещее. Как быстро несется оно! Как быстро разрастается! Вот уж оно не облако, а туча грозовая, уже только край солнца из-под нее выглядывает. Вот уж и совсем закрыла собой туча и солнце,

и все небо. Из ясного дня сразу чуть не ночь сделалась.

– Мне страшно! – шепчет Анджелика и крепко держится за руку жениха.

– Не бойся, не бойся! Я защищу, – шепчет пан Максим, а и сам тоже бледен.

– Батюшка! Матушка! Что же это такое? – кричит Анджелика.

Но отец только смотрит печально, а мать не отзывается, не отрывается от работы, как будто ничего не замечает. Вдруг зигзаг молнии прорезал тучу, загредел гром, и черный шар упал на поле и катится прямо на пана Максима и на нее.

– Пойдем! Побежим! – шепчет в ужасе Анджелика, но они не могут сдвинуться с места, словно вросли в землю.

А шар все ближе, ближе... Кроваво-красные буквы из языков пламени сверкают на нем. «Вера» – читает Анджелика.

И в это время пани Юзефа оборачивается к ним, указывает иссохшим пальцем на шар и грозно кричит: «Вера!»

И отец, стоя за ними, тихо шепчет:

– Да, вера!

А шар все ближе, ближе... На них уже несет жаром пламени от огненных букв. Лицо жжет, глазам больно смотреть...

И вдруг распался шар, темная тощая фигура стала между Максимом и ею. Анджелика узнает, кто это – это их патер, отец Пий. Это его сверкающие глаза грозно смотрят на нее, это его сухая рука с бешенством отталкивает от нее жениха.

Опять сверкает молния, опять гремит гром, и фигура патера Пия растет, растет, скоро она достанет головой до грозовой тучи. И чувствует Анджелика, что рука патера отрывает ее с земли, что он уносит ее куда-то...

– Батюшка! Максим! Матушка! – кричит Анджелика.

Но мать не поворачивает головы, отец смотрит растерянно и плачет, а Максим... Максима уже нет, только как будто тень его мелькает вдалеке. Что-то гремит, грохочет. Но это – не гром, это – хохот... Это смеется пан Феликс Гоноровый – вон его лицо видно из распавшегося шара. Лицо не человеческих, исполинских размеров. Как страшно сверкают его белые зубы при багровом свете пламени!

Все дальше, дальше уносит ее отец Пий, все громче, злорадней хохот пана Феликса...

Анджелика проснулась облитая холодным потом. Она не сразу пришла в себя. В ее ушах еще звучал хохот пана Феликса. Она обвела комнату испуганным взглядом.

Все было тихо и мирно. Лампада перед иконой разгорелась, и ее неподвижное пламя освещало спальню ярче прежнего. Лизбета спала или казалась спящей. Ее ровное дыхание долетало до Анджелики.

Девушка успокоилась.

«Что за сон! Что за сон! – думала она с удивлением. – Точно пророческий».

Но тотчас же она успокоила себя: «Что может быть? Мы уже сговорены...»

Спать ей не хотелось больше, да если бы и тянуло ко сну, так она не легла бы, боясь снова увидеть нечто подобное. Ей хотелось освежиться, окончательно прийти в себя. Забыв свое недавнее замечание Лизбете, она подошла к окну и распахнула его.

Предутренний ветерок обдал ее.

«Что может быть?» – с улыбкой снова подумала она, смотря на узкую золотую полосу зари, уже загоревшуюся на краю неба.

ХІІІ. Христианское наставление

Пани Юзефа только что вернулась со своей обычной утренней прогулки по саду – к усадьбе Влашемских прилегал большой сад – и собралась приняться за работу, когда ей доложили, что ее хочет повидать отец Пий. Он был немедленно принят.

Пани Влашемская, сухая, одетая во все черное женщина, со строгим лицом, с сильно поседевшими темными волосами, впалыми глазами, серыми, тусклыми и холодными, наконец подошла под благословение отца Пия.

Длинный, одетый в черную суконную сутану, худощавый, с желтою кожей сухого лица, на котором длинный горбатый нос сильно загибался к двум тонким бледно-розоватым полоскам, заменявшим губы, отец Пий выглядел великим постником. Его большие черные глаза горели странным огнем.

Когда он заговорил, его голос оказался слабым и слегка дрожащим.

– В добром ли здоровье, пани Юзефа? – осведомился пастер.

– Бог грехам терпит, Бог грехам терпит, отец Пий... Садитесь. Вы здоровы ли?

– Что пещься о здоровье? Все это – тлен и суета. Что бременное тело? Надо о душе заботиться.

– Истинная правда, отец Пий! Истинная правда! Вы – святой жизни человек, вы спасетесь, predeterminedены к блаженству. А вот нам-то как спастись? Во грехах мы, в суете... О-ох! – сокрушенно вздохнула пани Юзефа.

– Господь видит ваше усердие, дочь моя, – заметил патер, помолчал, потом сказал: – А я к вам по делу...

– По делу?

– Да, по важному: дело идет о спасении, направлении на путь истины души заблудшей.

Юзефа удивленно взглянула на него.

– Я говорю о женихе вашей старшей дочери, о пане Максиме из Гнорова, – пояснил Пий.

– Та-ак, – протянула пани. – А что же он?

– И это спрашивает верующая католичка?! – с негодованием воскликнул патер. – Он – преступник! Он губит свою душу и душу вашей дочери!

– Отец Пий! – с испугом воскликнула Влашемская.

– Да, да! Он губит! Или вы забыли, что он – еретик, греческий схизматик?

– Ах, об этом я сама сильно сокрушаюсь!

– Сокрушаться мало.

– Но что же делать?

– Надо направить его на путь истины.

– Я уже пробовала это делать... Не прямо, а намеками.

– Ну, и что же он?

– Он делает вид, что не понимает их.

– И вы, конечно, оставили попытки! Хорошо, нечего сказать! Дочь моя! Вы обрекаете себя на вечные адские муки! – воскликнул Пий, устремив на пани Юзефу сверкающий взгляд.

Пани побледнела.

– Ах, святой отец! Научите, наставьте меня!

– Вы лишаете вечного блаженства всю семью, готовясь принять в число ее членов еретика! – продолжал отец Пий.

Он уже не сидел, а стоял перед растерянной пани Юзефой, и вся его фигура с поднятыми к небу руками, с откинутой назад головой, дышала фанатизмом и ненавистью.

– Святой отец! Святой отец! – лепетала пани.

– Горе, горе дому сему! – грозно заключил патер и направился к двери.

– Отец Пий! Не уходите! Не покидайте меня! – простонала Юзефа.

Пий остановился.

– Хорошо, я не уйду, но даете ли вы мне слово, что постараетесь загладить свою непростительную небрежность?

– Ах, да, да! Конечно! Научите... Наставьте меня.

– Хорошо, дочь моя, я вижу у вас искреннее раскаяние... Хорошо, я вас научу.

Он вернулся и снова опустился в кресло.

– Видите ли, – заговорил он, помолчав: – когда панна Анджелика была сговорена с паном Максимом, я не протестовал, я полагал, что, благодаря этому браку, спасется хоть од-

на душа, гибнущая в сетях греческого схизматизма. Более того, я радовался этому, как истинный христианин, желающий добра своему ближнему, хотя бы и еретику. Но времени прошло уже не мало, а пан Максим все еще не думает отказаться от своих заблуждений и вступить в лоно святой католической церкви. Пора действовать. Он должен сделаться католиком возможно скорее, если же этого не будет...

– Если этого не будет?.. – замирающим голосом спросила пани Юзефа и вся точно съежилась в ожидании ответа.

– То брак этот нельзя допустить! – резко отчеканил патер.

– Нельзя допустить! – как эхо отозвалась пани и выпрямилась.

Глаза ее загорелись.

– Нельзя губить дочери из-за прихоти схизматика! – добавила она.

– Вы правы, дочь моя.

– Я сегодня же переговорю с паном Максимом.

– Нет! – поспешно сказал отец Пий. – Вы этого не делайте!

– Но как же? Поручить мужу?

– И этого не следует делать. Ни вам, ни пану Самуилу, ни даже мне не должно говорить с еретиком по очень простой причине: он нас не слушает, откажет наотрез. Я имею основание думать, что он – ярый еретик.

– Так как же?

– Пусть с ним поговорит по этому поводу сама панна Анджелика.

– Надо ее подготовить.

– Конечно.

– Вы мне поможете в этом?

– Нет, – живо проговорил патер, – им лучше не знать, что в этом деле участвую я. Я должен остаться в тени. Так будет лучше. Не падайте духом, дочь моя! Мы спасем души их от адского пламени.

– Во всяком случае, не отдадим души моей дочери во власть дьявола! – воскликнула Юзефа.

– Мы будем стоять на страже ее, как архангелы, и пламенный меч заменит нам наша пламенная вера. Благослови вас Бог! – сказал патер, вставая.

Вскоре после его ухода пани Юзефа приказала позвать к себе панну Анджелику.

XIV. Четыре буквы

Пани Юзефа встретила дочь очень приветливо.

– Садись, Анджелиночка, – сказала она после того, как дочь почтительно поцеловала у нее руку и пожелала доброго утра, – мне надо немножко с тобой поговорить.

Анджелика опустила в кресло, ломая голову над тем, о чем хочет с нею говорить мать.

Пани Юзефа помолчала. Она затруднялась, как начать, но подумав, решила говорить прямо.

– Ну, вот, душечка, уж скоро и свадьба твоя... Скажи, пожалуйста, когда думает пан Максим присоединиться к нашей святой церкви?

Анджелике невольно вспомнился сегодняшней сон; четыре огненные буквы – «вера» – встали перед ее глазами. Только теперь ей пришло в голову, что различие вероисповеданий может непроницаемой стеной стать между нею и женихом: она – католичка, он принадлежит к греческой церкви, даже не к «соединенной»². Как примирить непримиримое?

Мать молча смотрела на нее, ожидая ответа.

– Не знаю, матушка, – ответила, наконец, Анджелика.

– Гм... Ты говорила с ним об этом?

² После введения в Литве унии существовали две церкви: «униатская» или «соединенная» – признававшая своим главой папу, и «несоединенная», или «благочестивая», оставшаяся чисто православной.

– Н-нет.

– Почему?

– Не пришло в голову.

– Хорошо ответ для католички! – резко заметила пани Юзефа, подобно тому, как за четверть часа перед разговором с дочерью патер сделал ей самой похожее замечание.

– Ты должна с ним об этом поговорить.

– Хорошо, матушка.

– И возможно скорее.

– Поговорю. Ну, а если... – начала Анджелика и остановилась.

– Ну?

– Если он не захочет перейти в нашу веру?

– Тогда... – выпрямляясь, начала пани Юзефа. – Тогда... Да нет! Он должен согласиться быть католиком – это счастье! Должен! Так не забудь переговорить...

– Переговорю.

– Можешь идти.

Анджелика вышла из комнаты матери с пылающим лицом. На сердце у нее было невесело, и нечто вроде злого предчувствия закрадывалось в ее душу; а четыре огненные буквы начинали ей казаться роковыми.

Анджелика не заметила, что, едва она на несколько шагов отошла от двери, в комнату матери, как тень, проскользнула тощая фигура отца Пия.

Иезуит казался взбешенным.

– Что с вами, святой отец? – невольно воскликнула пани Юзефа, увидев его лицо.

– Это невозможно! Нас везде окружают враги, еретики! – задыхаясь, проговорил он, бросаясь в кресло. – Положительно, грома небесные не замедлят обрушиться на ваш дом!

– Господи! Да объясните!

– Да что ж объяснять? В вашем доме шагу нельзя ступить, не наткнувшись на еретика! Теперь я почти убежден, что миссия вашей дочери не будет иметь успеха.

– Почему же?

– А вот, не изволите ли узнать, какой разговор мне сейчас пришлось невольно подслушать?

– Я слушаю, святой отец.

– Я думаю, вы не забыли, что в вашем доме живет заклятый схизматик?

– Пан боярин?

– Да, да! Вот этот самый пан боярин, москаль Белый-Туренин! О, это – сосуд дьявола! Это – неисправимый грешник, это – волк схизматизма! Когда он лежал больным, я пытался его наставлять в правилах истинной веры, и знаете, что он мне сказал? «Вы, – говорит, – латиняне и с папой своим римским только раздор среди христиан сеете! И слушать я тебя, поп басурманский, не хочу!» А! Каково! Заклятый схизматик! Ну-с, так вот, сегодня этот самый еретик... стоит у дверей своей комнаты и разговаривает... Фу! Отдышаться не могу!

– Да вы успокойтесь, святой отец.

– Стоит и разговаривает с другим еретиком, с женихом вашей дочери. Дверь в комнату закрыта, но голоса слышны. Я проходил в сенях и... невольно слышал.

– Что же они говорили? – спросила пани Юзефа, с напряженным вниманием слушавшая патера.

– Богохульствовали они! Церковь нашу поносили! Вот что! – вскричал отец Пий. – Слышу, боярин говорит пану Максиму: «Счастлив ты теперь, друже: люб ты девице, и она люба тебе, женишься вскорости на ней – не забудь в своем счастье веру нашу святую православную». – «Что ты, Павлуша, – отвечает пан Максим, – да разве я могу и помыслить о грехе таком?» – «Верю, что не можешь, а только, Максимушка, слаб порою человек бывает, а эти латиняне – мастера сбивать христиан православных на путь ложный: посмотри, в Литве-то много ль истинных православных осталось? Все – либо „соединенный“, либо латинянин. Правда, все веры Господу Богу поклоняться учат, а только истинная есть одна – наша, православная: тут тебя никакому папе кланяться не заставят – верь только в Господа Иисуса Христа. Наша вера истинно святая... Бойся особенно этого длинного постнолицего отца Пия – лиса-еретик! Умеет подъехать!» – Дальше я не слушал... Что вы скажете?

– Это ужасно!

– Именно ужасно! Этого боярина необходимо удалить из вашего дома – он вреден, вреден!..

– Не попросить же его уехать, отец Пий.

– Отчего же не попросить уехать? Если не прямо, то дать понять: убирайся, мол.

– Он ведь спас пана Максима.

– Спас тело – губит его душу! Если он будет здесь – пан Максим никогда не покинет своей ереси. Попросите сюда пана Самуила: нам надо убедить его соединенными силами, чтобы он предложил этому схизматику убираться поскорей.

– Пан Самуил вряд ли согласится: он такой нерешительный.

– Должен согласиться! Нам нужно убедить его. Вы, как мать семейства, укажете ему на вред, который он вносит в семью; я, как духовному сыну своему, укажу на зияющую адскую бездну, которая открывается перед всеми Влашемскими. Он – набожный католик. Впрочем, можно найти для удаления москаля-боярина другой предлог...

– Какой же?

– Да хоть, например, то, что он увлекает панну Анджелику и этим грозит расстроить предстоящий брак.

– Но, святой отец, ведь это же – неправда! Анджелика искренно любит пана Максима, на пана боярина смотрит как бы на брата, друга жениха! – вскричала с волнением пани Юзефа.

– Я и не выдаю этого за правду. Впрочем, кто знает этих еретиков? Во всяком случае, это – предлог хороший, и мы его употребим в крайнем случае. Не бойтесь, что приходится

солгать.

Пани тяжело вздохнула, потом кликнула холопку.

– Позови ко мне пана Самуила. Скажи, что мне и отцу Пию надо поговорить с ним о важном деле.

Когда холопка вышла, пани Юзефа откинулась на спинку кресла.

– Я, отец Пий, устала от всех этих неприятностей... Точно несколько часов кряду работала... – проговорила она.

– Крепитесь, дочь моя! Мы трудимся для славы церкви! Бог вам воздаст за это, – торжественно сказал патер.

Пан Самуил уже входил в комнату.

XV. Удача пана Самуила

Пан Самуил вошел в комнату жены будто с некоторою боязнью; он почему-то даже ступал на цыпочках. Это был невысокий, кругленький человек с пухлым лицом, на котором маленький красноватый нос напоминал вишню, с редкими седеющими каштановыми волосами и рыжеватыми густыми, но короткими, торчащими, как щетина, усами.

Он подошел под благословение к отцу Пию, поцеловал руку жене, осведомившись о ее здоровье и о том, как она провела ночь, потом спросил, беспокойно моргая своими маленькими выцветшими глазами:

– Ты меня зачем-то хотела видеть, Юзефочка? И вы тоже, отец Пий?

– Садись, Самуил, – сказала ему жена.

Он торопливо опустился на кресло и, смущенно мотая головой, поглядывал то на жену, то на патера.

– Духовный сын мой!.. – заговорил патер после непродолжительного молчания. – Твоему дому грозит несчастье!

– Несчастье? Боже мой!.. Какое? – беспокойно заерзав на кресле, промолвил пан Самуил.

– Дай досказать отцу Пию, – заметила ему пани.

– Я так только, Юзефочка... Так несчастье? Ска-а-жите!..

– Да, несчастье! Твоей семье грозит распадение, твоей и всех твоих домочадцев душам – вечный адский пламень!

Ужасный червь подтачивает благополучие твоего дома.

– Но, Господи...

– Червь этот – ересь! – закончил патер.

– Ересь?

– Самуил, – заговорила пани, – пора обратить внимание на то, что наших дочерей может заразить пагубная ересь. За их души придется нам давать Богу ответ!

– Но объясните!

– погоди. Жених Анджелики – еретик...

– Но пан Максим такой...

– Хоть он и пан Максим, а все-таки еретик... А потом этот боярин.

– Вот оно – зло этого благочестивого дома! – воздев руку, патетически воскликнул патер.

– Пан Белый-Туренин – зло? Помилуйте! Но что он сделал? – отважился запротестовать пан Самуил.

– Вот оно! Вот оно! Еретик уже успел обворожить и твою благочестивую, искушенную испытаниями душу! Каково же бедным неопытным девушкам! Горе им, горе!

Пан Самуил с недоумением смотрел на него.

– Пана боярина следует возможно скорее удалить из нашего дома, – сказала пани Юзефа, наклонившись к своей работе – какому-то вязанию.

– Гм... Почему?

– Он увлекает твоих дочерей в греческую ересь! – воскликнул отец Пий.

– Может ли быть!

– Я сам слышал.

– Ну, когда так, конечно... А только... Мне, право, не верится...

– Опомнись, Самуил! Кому ты не веришь? – вскричала пани Юзефа, указывая на патера.

Тот имел вид оскорбленной невинности.

– Я верю, верю... Но... Пан боярин...

– Ты должен его попросить удалиться, – сказала пани Влашемская. – Не прямо, а намеками...

– Но ведь он спас Максима!

– Еретик спас еретика! Велика заслуга.

– Что ж, иной еретик лучше другого католика, – расхрабрился задетый за живое пан Самуил.

– Ты богохульствуешь, сын мой! – грозно вскричал патер.

– И, право, я не знаю... Я не могу удалить его! – вдруг решительно выговорил пан Самуил.

Он был робок, нерешителен, но иногда на него находило упрямство, и тогда с ним ничего нельзя было поделаться. Это прекрасно знала его жена, она сообразила, что на этой почве вряд ли удастся склонить мужа; приходилось пустить в ход «крайнее средство», о котором говорил ей патер.

– Есть еще одна причина... Я не хотела тебе сообщать, но... – промолвила пани Юзефа.

– Какая, Юзефочка? – чрезвычайно мягко проговорил пан Самуил, уже струсивший своей решительности.

– Он... Он развращает Анджелику...

Лицо пана Влашемского залилось яркою краской.

– Что ты говоришь?!

– Чего ждать от схизматика? – презрительно заметил отец

Пий.

– Он хочет отбить Анджелику от Максима, – продолжала пани.

– Гм... Быть может, это – клевета?

– Самуил! Ты хочешь меня вывести из терпения! – воскликнула пани Юзефа.

– Не сердись, Юзефочка! Если говорят, значит, есть что-нибудь похожее на правду... Я постараюсь, во всяком случае, чтобы пан боярин поскорее уехал.

– Слово?

– Слово чести!

– Ну, вот! Давно бы так! – облегченно вздыхая, сказала пани.

– Удалением еретика ты только заслужишь милость Божию, – заметил патер.

Удалившись из комнаты жены, пан Самуил долго ломал голову, как бы удобнее исполнить то, о чем его просили пани Юзефа и отец Пий. Не дай он слова, он, может быть, «отъехал бы на попятный», но слово было дано. Приходилось действовать.

Как нарочно, ничего подходящего пан Самуил придумать не мог, и это его раздражало. Досадовало его немало и то,

что приходится расстаться с Белым-Турениным: за протекшее время пан Самуил успел полюбить боярина, как родного сына.

Он в раздумье шагал по своей спальне, куда удалился, чтобы наедине собраться с мыслями, когда к нему вошел сам Павел Степанович Белый-Туренин.

Боярин мало изменился. Он только слегка похудел, да блесков седины прибавилось больше.

– А я тебя везде ищу, пан Самуил, – заговорил Павел Степанович – он по русскому обычаю говорил всем «ты», впрочем, в то время местоимение «вы» употреблялось и поляками еще довольно редко: это была чужеземная новинка, завезенная в Польшу вместе с французскими модами, которые мало-помалу начали вводиться при Сигизмунде среди знати. – Пришел спасибо тебе сказать за хлеб-соль твою, за ласку: завтра в путь-дорогу отправляюсь.

Пан Самуил едва мог удержаться от радостного движения. «Поручение жены исполнено!» – подумал он, но потом ему почти грустно сделалось, что это совершилось так скоро: он надеялся, что боярин проживет в доме еще несколько дней.

– Чего ж ты так торопишься? – спросил он.

– Пора! И то совестно, что загостился. Рана давно зажила.

– Далеко отправляешься?

– А сам не знаю. Я ведь бобыль ныне, – печально усмехнулся Павел Степанович, – где приглянется, там и остановлюсь.

– Поезжай в Краков. У меня есть там много знакомых, дам письма к ним. Они тебя ко двору королевскому представят...

– Спасибо... Пожалуй...

– Новые места увидишь, новых людей. Особенно теперь, такое время... Слышал про царевича-то?

– Слышал малость. Да я думаю, не пустая ль молва только.

– Трудно решить... Так завтра едешь? Пожил бы еще недельку хоть?

– Нет, спасибо, пан. Решил, так поеду.

– Ну, не неволю, как хочешь, – говорил пан Самуил, выходя вместе с боярином из спальни, а сам думал: «Ну, выпала мне удача! И Юзефочка, и отец Пий будут довольны. Один я недоволен. Эх-эх, Господи!»

XVI. За обедом

К обеду в Черный Брод приехал гость. Это был красивый молодой поляк пан Войцех Червинский; он отправлялся в Краков и по пути завернул к Влашемским.

Таким образом, за обед уселось семь человек, общество хотя и небольшое, но довольно разнородное и по костюмам, и по народностям. Пан Самуил был литвин, Червинский – чистокровный поляк, Белый-Туренин – москвич, пан Максим – западный русский и рознился от боярина говором, отец Пий – его национальность было довольно трудно определить, но, кажется, он был итальянец. Тоже и относительно религий: семья пана Влашемского была строго католической, пан Войцех, хотя числился католиком, но склонялся к протестантизму, что было далеко нередким явлением среди панов того времени; что касается Павла Степановича и Максима Сергеевича, то они были, как известно, православными.

Не меньшее разнообразие замечалось и в костюмах. Червинский и Влашемский были в жупанах и кунтушах, – у первого преобладали яркие цвета, у второго – более темные, – в цветных сапогах; Белый-Туренин нарядился в бархатный кафтан вишневого цвета; высокий «козырь» – воротник стоячий, пришитый к задней части ворота – был унизан по бортику зернами жемчуга; это была единственная роскошь, до-

пущенная боярином в своем наряде; Максим Сергеевич был одет тоже в русское платье, но уже несколько измененное в покрое на литовский лад. Что касается отца Пия, сидевшего неподвижно, с глазами, устремленными долу, и всем своим видом выражавшего христианское смирение и незлобие, то на нем была неизменная черная ряса, как на пани Юзефе – неизменное темное платье, несколько напоминавшее костюм монахини; панны Анджелика и Лизбета были в цветных нарядах – одна в голубом, другая в красном; в покрое их платьев уже сказывалось влияние французской моды. Это влияние в то время еще едва начиналось, но затем пошло быстрыми шагами, и в начале второй половины XVII века уже все высшее дворянство Литвы и Польши говорило и одевалось по-французски.

Красный цвет очень шел к Лизбете, но, может быть, от него ее лицо выглядело матово-бледным. Она была серьезна, почти грустна. Панна Анджелика тоже не была весела: поручение матери не выходило у нее из головы. Она, то и дело, с затаенной тревогой посматривала на жениха.

Вначале веселый, пан Максим, видя, что его невеста чем-то озабочена, тоже притих. Павел Степанович был задумчив. По лицам пани Юзефы и отца Пия трудно было узнать, в каком они находятся расположении духа. Только пан Самуил да гость были веселы. У пана Влашемского глаза так и сияли от радости.

– Надеюсь, что пан сделает мне честь, останется погостить

в моем доме? – сказал во время обеда пан Самуил гостю.

– Премного благодарен, пан Самуил, – ответил Червинский, – рад бы, но не могу: надо спешить.

– Напрасно! А куда пан направляется?

– В Краков, ко двору нашего наияснейшего короля Сигизмунда. Завтра же поеду... Переночевать мне пан позволит?

– Можно ли об этом спрашивать? – воскликнул Влашемский. – А у тебя, пан, будет до Кракова попутчик.

– А! Очень рад!

– Вот, боярин туда же думает ехать... Ты знаешь, Юзефочка, пан Белый-Туренин хочет покинуть нас завтра. – Добавил он, обращаясь к жене и всем своим видом говоря ей: «Что? Ловко устроил? Не ожидали так скоро?»

Посторонний наблюдатель мог бы легко подметить, что сообщение это произвело на присутствующих самое разнообразное действие. Панна Лизбета вспыхнула сперва, потом побледнела еще больше прежнего и опустила глаза; видно было, как нечто вроде легкой судороги пробежало по ее лицу; можно было ожидать, что она заплачет; патер вздрогнул, как от электрического удара; пани Юзефа удивленно взглянула на мужа, потом переглянулась с отцом Пием; Анджелика тоже удивилась – она ничего не знала о предстоящем отъезде боярина; только Максим Сергеевич остался совершенно спокоен: Павел Степанович уже ранее сообщил ему о своем намерении.

– Что же, пан боярин, соскучился, верно, у нас? – пробор-

мотала пани Юзефа.

– Нет, пани, но пора мне и честь знать – и то загостился, – ответил Белый-Туренин.

– Слышал новости, пан Самуил? – сказал Червинский.

– Это о царевиче-то? Слышал немножко. Да я все думаю, не пустой ли это слух.

– Нет, нет! – с живостью возразил пан Войцех. – Царевич действительно появился.

– Не так тут что-нибудь, – промолвил Павел Степанович, – может быть, и взаправду царевич какой-нибудь объявился, а только чтобы это был Димитрий – это вряд ли.

– Почему пан боярин так думает? – спросил Войцех.

– Потому что Димитрия, говорят, в живых нет. О смерти его я многое слышал: одни рассказывают, что царевич сам закололся в припадке недуга, другие – что будто бы его Борис зарезать приказал, а все вместе – что Димитрия в живых нет.

– В том-то и дело, что царевич избежал смерти! – вскричал гость.

– Избежал смерти?

– Да! Вместо него убили другого мальчика. Изволь послушать, что мне рассказал приятель. Был у вельможного князя Вишневецкого в Брагине слуга именем Григорий. Это был странный человек, вечно задумчивый, сторонившийся от всех своих товарищей. Многие подозревали, что в его прошлом есть какая-то тайна. Случилось этому Григорию тяжело заболеть. Позвали священника, и Григорий на духу

ему открыл, что он не простого звания, и просил в случае смерти погребсти его так, как прилично особам царственно-го рода. Священник не счел возможным сокрыть от князя Адама Вишневецкого то, что сообщил таинственный слуга. Князь пришел к ложу больного, и так как больной лежал в забытии, то обыскали его постель, осмотрели все его вещи. Под подушкой нашли рукопись, где было сказано, что Григорий – никто иной, как царевич Димитрий. В этой же рукописи было подробно изложено, как несчастный царевич избег ножа убийц, благодаря помощи некоторых добрых бояр и дьяков Щелкаловых, был удален потом в Литву, где и скрывался в неизвестности, опасаясь преследований Бориса. На груди Григория нашли золотой крест, осыпанный драгоценными камнями. Скажи, откуда простой слуга мог бы достать такой крест? Григорий или, вернее, царевич Димитрий после объяснил, что это – подарок его крестного отца, князя Ивана Мстиславского. Нашлись, наконец, люди, удостоверившие сходство Григория с царевичем Димитрием, которого им довелось некогда видеть. Особенно один из них, некто Петровский, поклялся, что приметы у Григория – родимые бородавки на лице и короткая рука, суть именно такие же, какие были у царевича-отрока. Одним словом, не остается сомнения, что он – истинный царевич.

– Все может быть. – Промолвил Белый-Туренин. – Этого слугу звали Григорием?

– Да.

– Ты говоришь, пан, у него на лице две бородавки и рука одна покороче?

– Да, да.

– Гм... Дивно! Я знаю одного такого же Григория, – задумчиво проговорил боярин. – С ним вместе мы вот Максима Сергеевича сюда довели из лесу, когда на него там злодеи напали. Долго он у Вишневецкого в слугах жил?

– Нет, несколько месяцев.

– Гм... Уж не он ли это и есть! – вскричал боярин.

– Теперь царевич все еще у князя Адама? – спросил Влашемский.

– Нет. Князь Адам дождался, когда царевич поправился, и свез его сперва к своему брату, князю Константину Вишневецкому, потом к Юрию Мнишку. В судьбе царевича также принимает участие папский нунций в Кракове – Рангони. Я слышал, что наш наияснейший король пожелал повидать царевича и хочет помочь ему добыть престол.

– Значит, опять будет воевать с Москвою? – сказал пан Самуил.

– Очень может быть.

– Царевич – римский католик, полагаю? – прервал свое молчание отец Пий.

– Нет, он, как вы называете, – «восточный схизматик». Говорят, склоняется, впрочем, к латинству.

– Он, вероятно, только орудие небесного промысла для обращения в истинную веру многих миллионов еретиков, –

сказал патер.

Пан Войцех насмешливо посмотрел на него.

– Захотят ли еще они перейти в латинство! Для них латинство – ересь. И мне кажется, они более правы! – улыбаясь, проговорил Червинский.

– Ужасно слышать подобное из уст католика! – заметила пани Юзефа.

– Ну какой я католик! Я более уважаю Кальвина и Лютера, чем папу римского.

– А уж что наши русаки вере отцов не изменят – голову дам порукой. Покажись только поп латинский, да начни им сладкие речи говорить, так они покажут ему себя! Не поздоровится! – громко сказал Павел Степанович и засмеялся.

Усмехнулись заодно с ним только пан Войцех да Максим Сергеевич, остальные сделали вид, точно не слышали резкого замечания. Патер, весь багровый от злости, глядел в свою тарелку.

Остаток обеда прошел довольно натянуто. Все вздохнули облегченно, когда встали из-за стола.

XVII. Зверь победил

Тихий весенний вечер уже наступил. Где-то там, далеко за лесом, догорает солнце, и на вершинах деревьев сада Влашемских лежит розовый отсвет. Немного сыро. Земля еще не успела обсохнуть как следует после таяния снега, и влажные, теплые токи тянутся от нее вверх. Зелень еще не вся распустилась, но пушок уже весь пооблетел, и тонкий ароматный запах от только что проглянувших на свет Божий клейких листочков наполняет сыроватый воздух.

В этом запахе весны есть что-то возбуждающее деятельность нервов; точно страстью веет от земли-невесты, ожидающей горячих объятий своего жениха – знойного лета.

Весна справедливо зовется порою любви, и если вы, мой благосклонный читатель, ненавистник любви, как враг всякого рода «глупостей», бесцельных, «смешных» для вас, для «человека рассудка», – а под «глупостями» вы разумеете все то, что не имеет ясно выраженной материальной пользы: зачем, например, по целым часам проводить перед картиной, статуей? Стоит ли читать стихотворение и стараться вызвать в своем воображении намеченные в нем образы? Не смешно ли серьезному человеку зачитываться романом, повестью, если ваша жизнь течет так же размеренно-неуклонно, как ход хронометра, тогда советую вам плотнее запирать в весеннюю пору окна вашей комнаты, чтобы раздражающий аро-

мат не пробился в нее, не заставил быстрее возвращаться вашу кровь, учащенное забиться холодное сердце и даже, пожалуй – *horribile dictu!* – не заставил вас откинуть ученый трактат, доклад «его превосходительству» или что-нибудь мудреное в этом роде, над чем вы склонили свою преждевременно лысеющую голову, взять трость и шляпу и, в противность вашим привычкам, отправиться на прогулку и не на Невский, не на Морскую, а куда-нибудь дальше, за черту города, где распускается липа, где начинает цвести черемуха.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.